



Карл Филипп Мориц

АНТОН РАЙЗЕР

Психологический роман

Карл Мориц
Антон Райзер

«Отто Райхль»

1790

Мориц К. Ф.

Антон Райзер / К. Ф. Мориц — «Отто Райхль», 1790

Карл Филипп Мориц (1756–1793) – один из ключевых авторов немецкого Просвещения, зачинатель психологии как точной науки. «Он словно младший брат мой,» – с любовью писал о нем Гёте, взгляды которого на природу творчества подверглись существенному влиянию со стороны его младшего современника. «Антон Райзер» (закончен в 1790 году) – первый психологический роман в европейской литературе, несомненно, принадлежит к ее золотому фонду. Вымышленный герой повествования по сути – лишь маска автора, с редкой пронизательностью описавшего экзистенциальные муки собственного взросления и поиски своего места во враждебном и равнодушном мире. Изданием этой книги восполняется досадный пробел, существовавший в представлении русского читателя о классической немецкой литературе XVIII века.

© Мориц К. Ф., 1790

© Отто Райхль, 1790

Содержание

От переводчика	5
Антон Райзер	10
Часть первая	10
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Карл Филипп Мориц Антон Райзер

От переводчика

«„Веди меня к Морицу“, – сказал я поутру наемному своему лакею. – „А кто этот Мориц?“ – „Кто? Филипп Мориц, Автор, Философ, Педагог, Психолог“. – „Постойте, постойте! Вы мне много насажали; надобно поискать его в календаре под каким-нибудь одним именем. И так (*вынув из кармана книгу*), он Философ, говорите вы? Посмотрим“. – Простодушие сего человека, который с важностью переворачивал листы в своем всезаключающем календаре и непременно хотел найти в нем роспись Философов, заставило меня смеяться. – „Посмотри его лучше между Профессорами, – сказал я, – пока еще число любителей мудрости неизвестно в Берлине“. – „Карл Филипп Мориц, живет в“. – „Пойдем же к нему“».¹

Так в 1789 году произошло личное знакомство русского писателя Николая Михайловича Карамзина с одним из самых оригинальных деятелей немецкого Просвещения. Будущему историку государства Российского, который в ту пору совершал ознакомительный тур по Европе, один за одним нанося стремительные визиты европейским знаменитостям, не исполнилось тогда и двадцати трех лет, но и маститому немецкому профессору было еще весьма далеко до патриарха. «Я представлял себе Морица – не знаю, почему – стариком; но как же удивился, нашедши в нем молодого человека лет в тридцать, с румяным и свежим лицом! – „Вы еще так молоды, – сказал я, – а успели написать столько прекрасного!“ – Он улыбнулся. – Я пробыл у него час, в который мы перебрали довольно разных материй».²

Как ни коротка была эта встреча, описанная юным Карамзиным со свойственным ему небрежным и обманчиво легкомысленным изяществом, в ней сквозит знаменательная симметрия. Карамзин весьма тщательно подготовился к этому разговору. Оба автора, при всем различии их культурных масштабов, совмещали в себе сходное сочетание талантов – писателя, поэта, критика, ученого, издателя, журналиста, оба по сей день, пускай зачастую анонимно, живут в культурной памяти своих соотечественников как зачинатели большой традиции. Карамзину предстояло своей поэзией и прозой сильнейшим образом способствовать радикальной реформе русского языка, привить ему, в основном из французского, средства и возможности описания внутренней жизни человека, тонких душевных переживаний, любовных чувств; впереди ждал труд по созданию многотомной «Истории государства Российского», положившей начало особому государственническому типу русской историографии. Его немецкому собеседнику, тридцатитрехлетнему «стариком» Карлу Филиппу Морицу, несмотря на тогдашний румянец (надо думать, чахоточный) и «свежесть лица», оставалось жить всего четыре года, литературный и жизненный подвиг этого крайне болезненного, тонкого и раннего человека близился к завершению. 26 июня 1793 года он в тяжелых мучениях скончается от хронической легочной болезни.

За отведенный ему короткий срок жизни, притом наполненной физическими страданиями, он успел сделать очень много. Богословские сочинения, ряд проницательных эстетических трактатов, положивших начало целому направлению теоретической эстетики как самостоятельной дисциплины, издание первого популярного журнала по аналитической психологии, интенсивная преподавательская деятельность и главный труд жизни – роман нового типа, полная небывало точных психологических интроспекций автобиография «Антон Райзер». У этого

¹ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1987, с. 45–46.

² Там же, с. 46.

романа странная судьба. Один из самых ярких и запоминающихся в немецкой литературе, он в свое время так и не вошел в ее «обязательный список», а впоследствии сам его неторопливый, обстоятельный и педантичный язык стал уходить в прошлое, между тем как многочисленные психологические наблюдения, открытия и интуитивные прозрения, содержащиеся в этой книге, были подхвачены, нашли многообразное воплощение, разойдясь по всему горизонту культуры, немецкой и мировой. Сам же источник так и остался пребывать в негустой, но устойчивой тени.

Почему же так произошло? Почему великий роман, который еврейский философ XX века Гершом Шолем справедливо уподобил, по его «метафизическому величию», эпической средневековой хронике, так и не снискал широкого и прочного читательского интереса? Можно попытаться объяснить это нарушением жанровых границ и той самой многонаправленностью творческого метода Морица, что привела в растерянность молодого Карамзина и его немецкого слугу, не сразу обнаруживших в берлинской справочной книге («всезаключающем календаре») фамилию Морица под той или иной конкретной рубрикой. Кто он? Философ? Педагог? Психолог? К этой серии характеристик, наугад перечисляемых Карамзиным, следовало бы добавить еще одну, принципиально существенную и не сразу опознанную читателями: социолог. Мориц, безусловно, был одним из первых в истории мысли и необычайно зорким стихийным социологом.

Немецкая литература предромантического периода, которую принято обобщенно – и довольно приблизительно – именовать «эпохой Гете», разумеется, знала и умела описывать духовные поиски, томления, сомнения и страсти молодого сознания, открывающего для себя мир. Достаточно вспомнить гётевские «Страдания юного Вертера», предмет прямо-таки молитвенного преклонения и самого Морица, и его героя, или «Годы учения Вильгельма Мейстера», роман, во многих отношениях параллельный «Антону Райзеру». Эти произведения очень изощренно – и столь же выборочно – передают тонкости душевной жизни героя, но при этом помещают его в социальный вакуум. Это придает повествованию, быть может, более универсальный, но одновременно и тем самым – более отвлеченный характер. Конечно, и в этой прозе местами выхвачены яркие детали общей картины, крупными рассеяны приметы, по которым можно составить представление об известных сторонах немецкой жизни того времени. И все же социальный и природный мир нарисован в ней весьма схематично, он – лишь фон, на котором горельефом вылепливается фигура протагониста. Обескураживающая новизна художественного метода Морица для современников – в том, что он изобразил своего героя в конкретной социальной среде, внутри немецкого общества, каким оно было в конце XVIII века по всей вертикали – от бытового устройства до духовных вершин поэтического и театрального мира. Болезненное, мучительно-беззащитное, отзывчивое, словно эолова арфа, «я» рассказчика складывается как отражение внешнего мира, как совокупность сложнейших реакций на его требования и претензии, но и сам этот окружающий мир изображен как зеркало, отражающее внутреннюю структуру богатой личности Антона.

Если попытаться одним словом обозначить характер немецкого общества времен Морица, таким словом будет – «власть». Власть князей («отцов земли», по немецкому выражению) над населением, власть отца семейства над женой и детьми, власть мастера над подмастерьями, хозяина дома над домашней челядью, проповедника над паствой, директора школы над учителями, учителей над учениками – и так до самого низа. Помимо твердых религиозно-нравственных устоев, зиждущих эту социальную иерархию, подчинение низших обеспечивалось их жесточайшей материальной зависимостью от высших. Немыслимо ослушаться старшего, иначе в тот же миг окажешься без куска хлеба, выброшенным во тьму крошечную один на один с нищетой, а то и голодной смертью.

Этой жесткой властной иерархии логично соответствовало четко расчерченное физическое пространство. Жизнь горожанина протекала в тесных интерьерах, внутри охраняемой

городской стены. Простые люди были почти совсем лишены личного пространства. Мориц, как и его альтер-эго Антон Райзер, родился в семье задавленного бедностью мелкого полкового музыканта. Детство Антона прошло под неусыпным родительским контролем. Райзер – подмастерье шляпника вместе с таким же, как он, заморышем делит свои дни между тесной каморкой, чадной кухней и крошечной подземной красильней, пропитанной ядовитыми парами. Выйти за городские ворота, расправить плечи на прогулке, взглянуть на божий мир, глотнуть свежего воздуха и полюбоваться зелеными лугами и лесами, убегающими к горизонту, работникам дозволялось лишь по воскресеньям. (Вспомним выразительную сцену публичного гуляния «У ворот» из гётевского «Фауста».) Круг жизни чуть повзрослевшего Райзера-школяра так же тесен и однообразен: место за общим обеденным столом, предоставляемое из милости, угол в чужом семействе, шумном или, напротив, удушливо педантичном, крышка колченогого рояля, заменяющая стол для занятий, место в классе, строго определенное текущими школьными отметками... Регламентация всех сторон жизни доходит до крайности.

Но и этого мало. Мечтательный, тщеславный и сверх меры одаренный юноша должен был постоянно носить на себе клеймо принадлежности к своему сословию и прилюдно его демонстрировать. Старая и перекроенная солдатская шинель, в которой он, давясь слезами унижения, вынужден ежедневно являться в школу и ходить по улицам, была ему подарена благодетелями не только в видах экономии, но и для того, чтобы не дать забыть ни ему, ни окружающим о его жалком положении полу-изгоя. Несет ли он по базару корзину с продуктами, готовый провалиться сквозь землю от стыда за свое реальное или мнимое сходство с домашней служанкой, каковой только и пристало толкаться с корзинами между продуктовых рядов, пробирается ли темными переулками, подальше от людских глаз, пряча под полой раздобытый ломоть хлеба, семенит ли по улицам за своим хозяином-шляпником со стопкой крашенных шапок в руках – ему всегда кажется, что на него устремлены презрительные взгляды прохожих. За спиной он все время слышит насмешливый шепот. Где бы он ни находился, Райзер обречен всегда чувствовать себя как на сцене...

И здесь, как видится, заключена главная смысловая и сюжетная пружина романа. Каким путем подросток – не обязательно гениальный, как Антон Райзер, но любой, волею судьбы рожденный в подвальном этаже общества, – может выбраться из своей тесной ячейки, разорвать узы, обрекающие его на пожизненное социальное заключение? Таких путей было ничтожно мало, они требовали от человека огромных, непосильных жертв, почти все оказывались дорогой в никуда и все обозначены в романе на примере разных персонажей.

Вот приятель Райзера, Г., бесшабашный и вечно неудовлетворенный авантюрист, вовлекший их дружескую компанию в опасные приключения и кончивший кражей церковного имущества, затем тюрьмой. После этого его след теряется. Антона бросает в холодный пот от одной мысли об их мимолетной близости и об опасности, которой сам он чудом избежал. Ведь он кто угодно, только не преступник... Вот случайный попутчик Антона, странствующий подмастерье сапожника. Раз и навсегда осознав, что ему ничем не раздобыть денег, нужных, чтобы внести вклад в цех башмачников, представить образец своего труда и сделаться полноправным ремесленником, он махнул на это рукой, живет вольной птицей, скитается по дорогам, ночует где придется и кормится подаванием. Такой голодной изнурительной жизни пришлось изрядно хлебнуть и Антону, проявившему невероятные чудеса выносливости и упорства, но примириться с ней он не может: дорога для него – это всегда движение к цели, но не сама цель. К тому же этот вундеркинд готов сколь угодно долго терпеть голод физический, но не интеллектуальный.

Помимо преступления и странничества есть и другие средства освобождения от тягот и унижений земного бытия, например, безумие и смерть. Первого Антон счастливо избегает, хотя порой проходит в опасной близости от него. Что же до смерти, ее образы являются ему на каждом шагу. Изуверская казнь преступников на глазах возбужденной толпы, забой скота

на живодерне, юный и прекрасный утопленник, внезапно расставшийся с жизнью, собственная ужасная болезнь в раннем детстве, наконец, гибель боготворимого Вертера – все это внушает ему острейшие переживания и высокие крайне пессимистические философские мысли. Доведенный до отчаяния, он и сам решается прибегнуть к этому последнему лекарству, но его спасает случай.

Какой же исход в итоге выбирает для себя Антон Райзер, по-немецки Антон Путник? Каков его жизненный путь? Он решает – сам того не осознавая – преодолеть свои несчастья изнутри, изжить их силой своего таланта и так обрести свободу. Привыкнув к роли вечного козла отпущения, объекта нескончаемых издевательств и поношений, он, конечно же, страстно мечтает о небытии и одиночестве: умереть, провалиться сквозь землю, забиться в угол, бежать прочь от людей, часами кружить по окрестностям одиноким волком... Но не в этом состоит последний выбор Антона Райзера. Заветное желание и мечта всей его жизни – публичность. Оставаясь на виду, стяжать восхищенные взгляды многотысячной толпы, стать фокусом ее устремлений. Добиться того, чтобы люди не указывали на него пальцами, а в восторге простирали к нему руки. И это – участь актера. Прожигающая, если не сказать маниакальная, мысль посвятить жизнь театру овладевает им не сразу, но постепенно. Первым кумиром юного Антона стал гениальный проповедник пастор Паульман. Описывая его поразительные проповеди, опасно электризирующие многотысячную толпу прихожан, доводящие ее до религиозного экстаза и мистического ужаса, Мориц настойчиво подчеркивает отточенные актерские приемы, которыми тот виртуозно пользуется. Честолюбивая мечта Райзера стать таким же кумиром толпы надолго облекается в черные священнические одежды и лишь постепенно оформляется в своем окончательном виде – стяжать славу великого актера. Примечательно, что тщеславие Райзера – черта, вообще говоря, малопривлекательная – совершенно не вызывает читательской неприязни. Слишком обаятелен этот герой, чересчур жестоко и несправедливо обходится с ним жизнь и слишком хорошо объясним этот его настрой неизбывной жаждой свободы. Но есть и другая причина, не менее важная – мы очень скоро начинаем понимать, что главная мечта Райзера, как и все другие его надежды и намерения, – лишь самообман и повелителем толпы он все равно никогда не сделается. Мы заранее прощаем Райзеру его юношескую амбициозность, так как видим, что он изначально находится во власти иллюзии. Ему куда сильнее сочувствуешь, чем осуждаешь.

Описание бесплодно-лихорадочных метаний героя по дорогам Саксонии в погоне за странствующей театральной труппой принадлежит к сильнейшим страницам романа. Но едва лишь цель наконец достигнута, сама труппа внезапно испаряется как дым. Пространство романа «Антон Райзер» – это пространство тотальной тщеты, и не случайно повествование, имитирующее реальную жизнь с отсутствием в ней какой-либо стройной композиции, обрывается на полуслове.

И все же, в какой мере жизнь героя, описанная в романе, «реальна», в какой – является проекцией его внутреннего «я»? Этот тонкий вопрос давно привлекает внимание исследователей. Главные персонажи романа – действительно жившие люди, их сохранившаяся переписка подтверждает многие факты и оценки, в нем отраженные. И все-таки ткань романа не столь уж прозрачна. Предромантическая эпоха сформировала новый в литературе запрос на «образ автора». Сказанное писателем стало восприниматься неотрывно от того, кем это было сказано. Поэтому условная авторская личность сделалась объектом творчества в неменьшей степени, чем «содержание» литературного произведения. Карамзин, к примеру, виртуозно разрабатывал и примерял на себя двуликий образ: любознательного русского «варвара», обращенный к европейцам, и утонченного европейца – для русского читателя. Мориц по-своему не менее филигранно лепит образ автора-героя своего романа. Основным фактором, сформировавшим личность Антона Райзера и его судьбу, рассказчик признает «угнетение» ребенка с раннего детства и преследовавшие его на каждом шагу обиды. И вот именно эти обиды и угнетение

делаются движущей силой сюжетного развития романа, ключом к психологии героя. Они, как стрекало, гонят Антона к вершинам познания, питают его самолюбие и воображение, придают новые силы, окрыляют дух. Неудивительно, что Мориц целой серией тонких приемов всячески педалирует заведомую враждебность мира к своему герою. Между тем многие действительно страшные испытания, выпавшие на долю Антона, были *обычными* для подростков его сословия в ту эпоху и не воспринимались как личная катастрофа. Мориц регулирует сценическое освещение романа таким образом, что некоторые его герои выглядят более грозными и зловещими, чем были их прототипы в жизни. Упомянем лишь одну ключевую фигуру, отца Морица, который, по свидетельству современников, был скорее безвольным, недоучившимся и растерянным от жизни неудачником, чем семейным деспотом, выведенным в образе отца Антона Райзера...

У прозы Морица есть черта, роднящая ее с определенным типом модернистского повествования XX века. Рассказ у него ведется от третьего лица, однако читатель, погружившись в перипетии романа, ловит себя на мысли, что все происходящее излагается словно бы от его собственного имени. Дело в том, что Антон Райзер, с детства ощутивший себя униженным и никчемным человеком, чье мнение никем не берется в расчет, не имеет внутри себя критериев для оценки собственной личности. Да и личности этой в объективном смысле как бы не существует. Или, что то же самое, она безразмерна. Она до такой степени неочерчена, что, узнав, например, о преступлении своего бывшего приятеля Г., Антон недалек от того, чтобы самому признаться в краже, хотя он ее не совершал. Самооценка Райзера, как маятник, все время колеблется между испепеляющей ненавистью к себе самому и самой непомерной амбицией. Подверженный постоянному искусству самоуничтожения, он должен снова и снова убеждаться в своем существовании. Поэтому ему как воздух необходимы объективирующие оценки других людей – как ни парадоксально, даже самые уничижительные. Они придают Райзеру уверенность, что он существует. Отсюда его постоянная оглядка на чужие мнения, болезненно-чуткое вслушивание в каждый шепоток за спиной. Но экзистенциальная ситуация Райзера – это лишь доведенный до крайности феномен человеческого «я» как таковой. Ведь любое рефлекслирующее самосознание обретает свою конфигурацию лишь в чужих взглядах, как в многочисленных зеркалах, расставленных вокруг. Поэтому мы невольно отождествляем себя с Райзером, невзирая на, быть может, полное несходство нашего жизненного опыта. Таков механизм, втягивающий читателя, как в воронку, в ткань этого исповедального романа.

Немецкие историки литературы проводят аналогию между психологическими интуициями Морица и тем, как организует свою прозу Ф. Кафка. Автобиографизм произведений Кафки, не столько фактический, сколько обобщенно-экзистенциальный, очевиден. И герой Кафки, будь он К. или Землемер, столь же размыт, неопределен, так же бесконечно чувствителен и восприимчив ко всем волнам и импульсам окружающей среды, как Антон Райзер. Готовый превратиться в кого-то другого или во что-то другое (вплоть до насекомого), он так же слабо, как Райзер, ощущает границы своей персоны. Он совершенно беззащитен перед любыми, сколь угодно чудовищными обвинениями и столь же безропотно, даже с облегчением, готов расстаться со своей жизнью. Рассказ о Райзере или о К. – это рассказ о человеке вообще, существе принципиально безразмерном и «всезакключающем». Поэтому эти образы так магнетически нас притягивают. Вглядываясь в них, как в зеркало, мы непременно находим там и свое отражение.

Антон Райзер

Часть первая

Этот психологический роман вполне можно было бы назвать биографией, так как приведенные в нем наблюдения по большей части взяты из действительной жизни. Кто имеет понятие о ходе вещей, внутренне свойственных человеку, кто знает, как часто малое и чуть заметное разрастается в жизни до огромного, того не смущит мнимая ничтожность иных обстоятельств, здесь описанных. Также не следует искать в книге, посвященной душевной истории одного человека, изображения чрезмерного множества характеров, ведь нам надлежит не дробить силы воображения, но собирать их воедино и всячески изоцирять взгляд души, исследующей самое себя. Нечего и говорить, задача это нелегкая, и потому не всякий опыт обещает принести успех, но так или иначе, хотя бы в деле педагогики усилия, побуждающие человека заглянуть внутрь себя и почувствовать важность своего индивидуального существования, никогда не останутся вполне бесплодными.

Еще не так давно, в 1756 году, недалеко от городка Пирмонт, славящегося целебным источником, жил в своем поместье некий дворянин, возглавлявший в Германии секту так называемых квиетистов, или сепаратистов, чье учение почти целиком содержится в писаниях мадам Гийон, известной мечтательницы, жившей во Франции в одно время с Фенелоном и имевшей с ним общение.

Господин фон Фляйшбайн, так звали этого дворянина, жил столь же отрешенно от соседей, их религии, нравов и обычаев, как отделен был от их домов его дом, окруженный со всех сторон высокой стеной.

Дом этот представлял собою маленькую республику, где царили совсем иные порядки, чем в остальной округе. Домашний уклад здесь был таков, что вся прислуга до последнего работника состояла из людей, чьи помыслы – хотя бы по видимости – клонились к возвращению в *ничто* (как выражается мадам Гийон), к *умерщвлению* страстей и к искоренению *самости* в себе.

Всем домашним вменялось в обязанность раз в день собираться в большом зале на своего рода священнодействие, отправляемое самим господином Фляйшбайном и состоящее в том, что они рассаживались вокруг стола и с закрытыми глазами, опустив голову на стол, ждали в продолжение получаса, не зазвучит ли в них божественный глас или *сокровенное слово*. Если же кто слышал нечто подобное, то рассказывал об этом всем остальным.

Господин Фляйшбайн сам также руководил чтением своих людей, и если у кого из слуг или горничных выпадали свободные четверть часа, тот усаживался с видом задумчивости за одно из творений мадам Гийон о *внутренней молитве* или чем-то подобном.

Даже самые мелкие хозяйственные хлопоты в этом доме были исполнены торжественной серьезности и суровости. На каждом лице читалось *умерщвление* и *отречение*, в каждом действии – *исхождение из себя* и *восхождение в ничто*.

После смерти супруги господин фон Фляйшбайн не стал жениться во второй раз и поселился со своей сестрой госпожой фон Прюшенк в уединении, позволявшем им безраздельно и в полном покое посвятить себя великому делу распространения системы мадам Гийон.

Управляющий Х. и экономка с дочерью составляли, так сказать, среднее сословие дома, далее следовала простая челядь. Все эти люди крепко держались друг друга и несказанно благоговели перед господином Фляйшбайном, ведшим воистину безупречный образ жизни, хотя окрестные жители разносили про него самые что ни на есть неблагоприятные слухи.

Трижды в ночь он по часам вставал на молитву, дни же большей частью проводил за переводом с французского многотомных трудов мадам Гийон, которые затем печатал за собственный счет и безвозмездно раздавал своим присным.

Наставления, содержащиеся в этих трудах, относились преимущественно до таких уже упомянутых предметов, как исхождение из самого себя и восхождение в блаженное ничто, окончательное искоренение так называемой *самости*, или *любви к себе*, и абсолютно бескорыстная любовь к Богу, в коей – коль скоро она желает оставаться чистой – нет ни малейшей искры себялюбия и из коей под конец рождается совершенный и блаженный *покой*, высшая цель всех названных устремлений.

Поскольку же мадам Гийон почти всю жизнь ничем иным не занималась, как только писала книги, то и трудов у нее накопилось такое несказанное множество, что сам Мартин Лютер едва ли ее в этом превзошел. Одно лишь ее полное мистическое толкование Библии занимало около двадцати томов.

Означенная мадам Гийон претерпела множество гонений и наконец, поскольку власти сочли ее учение опасным, была заключена в Бастилию, где и оставалась вплоть до своей кончины, наступившей после десяти лет пребывания в тюрьме. Когда по смерти череп ее был трепанирован, мозг оказался почти совсем иссохшим. Приверженцы по сию пору воздают мадам Гийон почти божественное поклонение как величайшей святой, а ее изречения приравнивают к библейским, ибо считается, что путем полного искоренения *самости* ей удалось достичь столь тесного единения с Богом, что все ее мысли суть не что иное, как подлинные мысли Бога.

Господин Фляйшбайн впервые познакомился с трудами мадам Гийон во время своих путешествий по Франции, и сухая метафизическая мечтательность, в них царящая, настолько пришлась ему по душе, что он углубился в нее с не меньшим пылом, чем в других обстоятельствах, возможно, предался бы высшему роду стоицизма, с которым учение мадам Гийон имело много общих черт – особенно по части полного умерщвления всяческих страстей и т. п.

Он также был почитаем своими последователями подобно святому; они верили, что он может единым взглядом проникнуть в самую душу человека.

К его дому со всех сторон стекались паломники, и среди тех, кто посещал этот дом не реже одного раза в год, был и отец Антона.

Этот человек, выросший без должного воспитания, впервые женился очень рано, вел довольно разнузданную и беспорядочную жизнь, изредка перемежаемую периодами кроткого умиления, о которых он, впрочем, быстро забывал. Как вдруг, после смерти первой жены, он замкнулся, впал в глубокую задумчивость и, как говорится, переменялся до неузнаваемости, после чего, посетив Пирмонт, случайно познакомился сначала с управляющим господина Фляйшбайна, а затем, через него, и с самим Фляйшбайном.

Последний стал беспрестанно потчевать его писаниями мадам Гийон, к которым тот пристрастился и вскоре сделался открытым последователем господина Фляйшбайна.

Тем не менее он надумал жениться снова. Свел знакомство с будущей матерью Антона, которая вскоре согласилась выйти за него, на что никогда бы не решилась, если бы могла предугадать, какую бездну страданий приуготовляла ей супружеская жизнь. Она надеялась, что муж окружит ее еще большей любовью и заботой, чем то было в родительском доме. Какое ужасное заблуждение!

Сколь сродственно было учение мадам Гийон об умерщвлении и изничтожении всяческих страстей, вплоть до самых кротких и нежных, грубой и холодной душе ее мужа, столь же явно сама она чуралась этих идей, против коих восставала всем сердцем.

И здесь коренились ростки всех их будущих семейных раздоров.

Муж стал презрительно высмеивать ее суждения, поскольку она не желала постигать великих тайн, преподанных госпожою Гийон.

Это презрение распространилось затем и на прочие ее суждения, и чем яснее она это осознавала, тем быстрее неизбежно таяла их супружеская любовь, а взаимное неудовольствие росло с каждым днем.

Мать Антона, весьма начитанная в Библии, неплохо разбиралась в религиозной системе, нашедшей в ней воплощение; к примеру, она весьма красноречиво говорила о том, что вера без дел мертва, и о многом другом.

Библию она с сердечным наслаждением могла читать целыми часами, но стоило мужу приняться за чтение вслух выдержек из сочинений мадам Гийон, как она начинала испытывать безотчетную тревогу, рождаемую, вероятно, опасениями, что ее сбивают с истинной веры.

В таких случаях она всячески старалась поскорее уйти. К тому же черствость и бессердечие мужа она во многом относила за счет писаний мадам, которые в душе все больше ненавидела, а во время бурных семейных ссор проклинала вслух.

Так мир, покой и благоденствие семьи годами разрушались из-за этих злополучных книг, коих ни тот, ни другая и понять толком не могли.

В такой обстановке и появился на свет маленький Антон, про которого поистине можно сказать, что он терпел угнетение с самой колыбели.

Первое, что восприняли его уши и его пробуждавшийся разум, были взаимные проклятия и обвинения, коими осыпали друг друга навеки обреченные на брачный союз супруги.

Имея и отца, и мать, он все же с раннего детства чувствовал себя покинутым ими обоими, поскольку никогда не знал, к кому из них может прибегнуть, кого держаться – оба они ненавидели друг друга, а ему были одинаково близки.

В раннем детстве он не изведal ни нежных родительских ласк, ни улыбок, ободряющих первые усилия ребенка.

Родительский дом, где он вступил в жизнь, был полон вечного недовольства, гнева, жалоб и слез.

Эти первые впечатления за всю жизнь так и не выветрились из его души, превращенной ими во вместилище мрачных мыслей, которые он не мог вытравить из себя никакой философией.

Во время Семилетней войны отец ушел воевать, и мать на два года переселилась вместе с Антоном в маленькую деревушку.

Здесь он пользовался известной свободой и получил некоторое вознаграждение за муки раннего детства.

Воспоминания о первых увиденных им лугах, о поле, убегающем по отлогому склону холма и обрамленном наверху зеленым кустарником, о горе, тонущей в голубой дымке, о кустах и деревьях, бросающих у ее подножия тень на зеленую траву и к вершине растущих все гуще, неизменно примешивались к самым приятным его мыслям и составляли фон прельстительных образов, нередко рождаемых его фантазией.

Но как быстро промелькнули два счастливых года!

Наступил мир, и мать вместе с Антоном вернулась в город, где снова стала жить с мужем.

Долгая разлука на малый срок создала иллюзию супружеского согласия, но тем ужасней оказалась буря, грянувшая после обманчивого затишья.

Сердце Антона преисполнялось тоски, когда ему приходилось счесть неправым кого-либо из родителей, и все же ему очень часто мнилось, что правота в спорах скорее на стороне отца, которого он попросту боялся, а не на стороне матери, которую любил.

Так юная его душа непрестанно колебалась меж ненавистью и любовью, меж страхом и доверием к своим родителям.

Ему не сравнялось и восьми лет, когда мать родила второго сына, которому достались жалкие крохи еще не полностью растроченной отцовской и материнской любви, так что Антону

почти не уделяли внимания; теперь он нередко слышал, что о нем отзываются с презрением и пренебрежением, и это весьма больно его ранило.

Откуда же взялась у него столь острая потребность в любви, если он никогда ее не знал и потому едва ли имел о ней хотя бы малейшее понятие?

Правда, в конце концов это чувство в нем несколько притупилось; непрерывная брань по его адресу стала привычной, и если порой он ловил на себе дружелюбный взгляд, то воспринимал его как нечто необычное, противоречащее всем его представлениям.

Антон испытывал глубочайшую потребность в дружбе со сверстниками и часто, встречая мальчика своего возраста, начинал всю душу к нему тянуться; он отдал бы все, чтобы сделаться его другом, и лишь унижительное чувство отверженности, внушенное родителями, а также стыд за свое убогое, перепачканное и потертое платье удерживали его от знакомства с более счастливым ровесником.

Так он и бродил по округе, вечно печальный и одинокий: соседские мальчишки в большинстве своем были одеты аккуратнее, чище и богаче, чем он, и не хотели заводить с ним знакомства, с другими же он сам не желал сблизиться из-за их слишком вольного поведения, а отчасти из собственной гордости.

Оттого-то он не нашел себе ни приятеля, ни товарища детских игр, ни друга среди детей или взрослых.

Впрочем, когда ему исполнилось восемь лет, отец решил немного поучить его чтению и с этим намерением купил две маленькие книжицы; в одной из них преподавалось чтение буква за буквой, вторая содержала сочинение, направленное против побуквенного чтения.

В первой книге Антону по большей части пришлось разбирать по буквам трудные библейские имена: Навуходоносор, Авденаго и другие, о которых он не имел ни малейшего представления, отчего дело продвигалось довольно медленно.

Однако стоило ему заметить, что, складываясь друг с другом, буквы выражают подлинно разумные идеи, как желание научиться читать стало разгораться день ото дня сильнее.

Отец уделил занятиям с Антоном не более нескольких часов, и, к удивлению близких, тот за считанные недели выучился читать самостоятельно.

По сей день он с душевным удовольствием вспоминает, какая радость охватывала его, когда упорным трудом ему удавалось разобрать несколько строк, дававших пищу размышлениям.

Одного лишь не мог он понять: как возможно, что другие люди читают столь же быстро, как говорят; сам он поначалу и думать не смел, что когда-нибудь достигнет такого совершенства.

Тем сильнее были его удивление и радость, когда еще через несколько недель он овладел и этим умением.

Все это как будто вызвало некоторое уважение к нему у родителей и даже большее – у других родственников: он заметил известную перемену в их отношении, но отнюдь не эта перемена побуждала его усердие.

Отныне его страсть к чтению сделалась ненасытной. По счастью, в книге для побуквенного чтения кроме библейских изречений имелось несколько рассказов о благочестивых детях; он прочел их бесчисленное количество раз, хотя сами по себе они не представляли особого интереса.

В одном повествовалось о шестилетнем мальчишке, который во времена гонений на христианство не пожелал от него отречься и предпочел ужасные истязания, сделавшись вместе со своей матерью мучеником веры; в другом – о злочестивом юноше, который на двадцатом году жизни обратился и вскоре умер.

Затем пришел черед второй книги, направленной против побуквенного чтения; в ней он с великим удивлением прочитал, что учить детей читать по буквам не только вредно, но и воистину губительно для детской души.

В этой книге он нашел наставление для педагогов по обучению детей чтению, а также сочинение о том, как органы речи производят те или иные звуки; как ни сухи показались ему эти предметы, все же он, за неимением лучшего, с великим упорством дочитал книгу до конца.

Через это чтение Антону внезапно открылся новый мир, наслаждение которым отчасти затмевало все то тягостное, чем полнился мир окружающий. Когда повсюду царил только шум, свары и домашние перебранки или он отчаивался найти себе друга, он спешил к своей книге.

Так уже в раннем возрасте он оказался вытеснен из естественного детского мира в искусственный идеальный мир, отвадивший его дух от множества житейских радостей, коими столь беззаботно наслаждались другие.

Восьми лет от роду его постигла изнурительная болезнь. Все от него отвернулось, и он поминутно слышал, что о нем говорят так, словно он уже умер. Эти разговоры вызывали у него лишь улыбку, вернее, сама смерть, как он ее тогда себе представлял, не заслуживала в его глазах слишком серьезного отношения. В конце концов его тетка, которая была к нему едва ли не добрее, чем собственные родители, отвела его к врачу, и тот за месяц-другой вылечил его.

Но не прошло и нескольких недель после его выздоровления, как во время прогулки с родителями по полю, столь редкой и потому особенно для него желанной, у него заболела левая нога. После перенесенной болезни это была его первая прогулка, которая на долгое время стала и последней.

На третий день опухоль и воспаление на ноге приняли столь угрожающие размеры, что на завтра решили предпринять ампутацию. Мать Антона сидела на стуле и плакала, а отец подарил ему два пфеннига. Это первые проявления родительских чувств, которые он запомнил, и тем сильнее они на него подействовали.

Накануне предстоявшей ампутации к матери Антона зашел некий сердобольный сапожник и дал ей склянку с мазью, которая за считанные часы сняла и опухоль, и воспаление. Отнимать ногу не стали, но болезнь длилась еще четыре года, в продолжение которых Антону пришлось вытерпеть несказанные мученья, лишившие его, помимо прочего, всех детских радостей.

Порой болезнь приковывала его к постели на три месяца, после чего несколько отступала, а затем разгоралась с новой силой.

Нередко он охал и стонал всю ночь напролет и чуть не каждый день терпел при перевязке ужасные боли. Разумеется, это еще больше отдаляло его от мира и от общения со сверстниками и все сильнее привязывало к чтению и книгам. Чаще всего он читал, пока укачивал младшего брата; по книгам он тосковал как по друзьям, потому что книга сделалась ему и другом, и утешителем, и заменой всего на свете.

К девяти годам он прочел всю библейскую историю, от начала до конца, и всякий раз, когда умирал кто-нибудь из главных героев, Моисей, Самуил или Давид, он по целым дням ходил опечаленный, словно скончался его близкий друг, так привлекали его люди, многое успевшие совершить в своей жизни и тем себя прославившие.

Одним из любимых персонажей у Антона был Иоав, мысли о его дурных деяниях причиняли ему боль. Но особенно поражало его благородство Давида: рассказ, как Давид помиловал своего злейшего врага, оказавшегося в его власти, трогал до слез.

Как-то раз в руки Антона попала книга житий отцов церкви, которую его отец ценил чрезвычайно высоко, при всяком удобном случае ссылаясь на их авторитет. Свои моральные увещания он обыкновенно начинал словами: «как сказано у мадам Гийон...» или «у святого Макария, Антония...»

Святые отцы, при всей напыщенности и причудливости их жизнеописаний, виделись Антону совершеннейшими образцами для подражания, и он подолгу грезил лишь о том, как бы уподобиться своему тезоименному святому, Антонию, и, подобно ему, оставив отца и мать, бежать в пустыню, которую надеялся обрести не слишком далеко от дома и куда однажды и вправду отправился, удалившись от ворот более чем на сотню шагов, после чего боль в ноге заставила его повернуть обратно. Так же всерьез он начал колоть свое тело булавками и всячески причинять себе боль, чтобы хоть немного походить на святых отцов, а ведь у него и без этого не было недостатка в мучениях.

В пору увлеченности чтением Антон получил в подарок маленькую книжку, название которой он вскоре забыл, говорилось же в ней о привитии юным страха Божия и о том, как детям от шести до четырнадцати лет следует содержать себя в благочестии. Главы этой книжицы были поименованы соответственно: «Для детей шести лет», «Для детей семи лет» и т. д. Антон прочел в ней раздел «Для детей девяти лет» и пришел к выводу, что у него еще есть время сделаться благочестивым человеком, хотя прошедшие три года потрачены впустую.

Сей вывод потряс его до глубины души, и он твердо решил стать на путь истинной веры, на что отважился бы далеко не всякий взрослый. С этой поры он самым пунктуальным образом следовал руководству книги во всем, что касалось молитвы, послушания, терпения, дисциплины и т. п., ставя себе в вину любую поспешность. «Чего только я не достигну через пять лет, – думал он, – если буду придерживаться этих правил». Причина же в том, что в маленькой книжечке путь благочестия был представлен как дело тщеславия – словно бы некий ученик, переходя из класса в класс, радуется, что поднимается все выше и выше.

Если же он, что вполне естественно, временами забывался – когда боль в ноге несколько утихала, он принимался бегать и прыгать, – то позже испытывал тягчайшие уколы совести: ему казалось, что он опустился на несколько ступеней вниз.

Эта небольшая книжка наложила стойкий отпечаток на его поступки и образ мыслей: все, что в ней находил, он старался немедленно претворить в действие. Так, он ежедневно самым добросовестным образом вычитывал утреннее и вечернее молитвенное правило, поскольку так предписывал катехизис, при этом он не забывал осенять себя крестным знаменем и произносить «да будет Господня воля» – по наставлению катехизиса.

Других проявлений благочестия он вокруг себя почти не видел, хотя слышал много разговоров на эту тему, а его мать каждый вечер благословляла и крестила его на сон грядущий.

Кроме того, господин Фляйшбайн среди прочего перевел на немецкий язык духовные песнопения мадам Гийон, а отец Антона, имевший склонность к музыке, положил их на голос, придав мелодиям бодрый и живой характер.

Иной раз, когда отец после долгого отсутствия возвращался домой, он уговаривал супругу исполнить вместе с ним некоторые из этих песен, сам же подыгрывал на цитре. Это происходило обыкновенно в первые часы по его приезде, еще окрашенные радостью встречи, и делало эти часы, быть может, самыми счастливыми во всей их супружеской жизни.

В такие минуты душу Антона охватывала несказанная радость, и он часто присоединялся к пению, ставшему выражением столь редкой взаимной гармонии и согласия между его родителями.

Отец вручил эти песни сыну, сочтя его достаточно зрелым для знакомства с ними, и велел частично выучить их наизусть.

Действительно, несмотря на ходульный перевод, песнопения эти выражали нечто столь умирительное, столь неподражаемо нежное, исполненное мягкой меланхолии, и были так неотразимо привлекательны для отзывчивой души, что на всю жизнь запечатлелись в Антоновом сердце.

Нередко в часы одиночества, когда ему казалось, что весь мир от него отвернулся, он утешал себя пением о блаженном исходе из самого себя и о сладостном саморастворении перед лицом Первоисточника всего сущего.

Так благодаря своим детски-наивным понятиям уже в ту пору он часто испытывал поистине райское умиротворение.

В один из вечеров хозяин дома, где они жили, пригласил родителей Антона на маленькое семейное торжество. Антону пришлось наблюдать из окна, как соседские дети, красиво наряженные, собираются на праздник, сам же он принужден был оставаться в комнате, так как родители стыдились его бедного платья. Стемнело, и его начал мучить голод, но родители не оставили ему на ужин ни куска хлеба.

И вот, когда он сидел у себя наверху и плакал, до него донесся снизу шум веселой разноголосицы. Покинутый всеми, он сначала почувствовал горькое презрение к себе, которое внезапно обернулось глубочайшей грустью, так как в эту минуту он невзначай раскрыл песни мадам Гийон и наткнулся на одну, которая, как ему мнилось, точно выражала его состояние. Чувство саморастворения, должно быть, низошло на него благодаря песне мадам Гийон, побуждая затеряться в бездне вечной любви, как капля в океане. Поскольку, однако, муки голода сделались совершенно невыносимы, все утешения мадам Гийон перестали ему помогать, и тогда он решил сойти по лестнице вниз, где его родители пировали в шумной компании, чуть-чуть приоткрыл дверь и попросил у матери ключ от буфета и заодно – разрешение взять оттуда немного хлеба, ведь его так сильно мучает голод.

Появление его вызвало у присутствующих взрыв смеха, вскоре сменившийся жалостью и даже известной неприязнью к его родителям.

Его позвали к столу и угостили лучшими кушаньями, которые доставили ему радость, правда совсем иного рода, нежели утешительные песни мадам Гийон.

Однако и те радости – смешанные с горечью и изобилующие слезами – сохраняли для него нечто притягательное, и он предавался им, перечитывая песни мадам Гийон всякий раз, когда рушилась какая-нибудь его надежда или ему предстояло что-то неприятное, например перевязка ноги или прижигание воспаленного места ляписом.

Кроме сборника песен мадам Гийон, отец подарил ему еще одну книгу того же автора: «Наставление о внутренней молитве».

Там рассказывалось, как постепенно, шаг за шагом, можно научиться собственным разумом собеседовать Богу и ясно воспринять сердцем Его голос, Его *сокровенное слово*, для чего надлежит сначала сколько возможно отрешиться от своих чувств и обратиться к себе самому и своим собственным мыслям, то есть научиться внутренней созерцанию, после чего прекратить и это и даже вовсе забыть самого себя – лишь тогда будешь в состоянии воспринять голос Бога.

Этому наставлению Антон следовал с величайшим усердием, поскольку страстно желал сподобиться чуда – услышать внутри себя голос Бога.

Поэтому он часами просиживал на стуле, закрыв глаза, пытаясь отрешиться от своих чувств. То же самое проделывал и его отец – к величайшему расстройству матери. На Антона же она не обращала внимания, ведь ей в голову не приходило, что мальчик может питать подобные намерения.

Между тем Антон вскоре зашел столь далеко, что счел свои чувства в достаточной мере побежденными и принялся всерьез беседовать с Богом, с которым сделался на довольно короткой ноге. Целыми днями – во время одиноких прогулок, во время работы и даже игры – он разговаривал с Богом, обращаясь к нему с любовью и доверием, но так, как говорят с равными себе, не особенно церемонясь, и временами ему казалось, что Бог действительно отзывается на его обращения.

Конечно, порой между ними не обходилось без небольших размолвок, когда, например, Антону бывало отказано в какой-нибудь невинной игрушке или в чем-то ином. Тогда он нередко сетовал: даже такой малости не можешь мне позволить! или: уж это ты мог бы разрешить или хотя бы подать надежду! Вообще же Антон не корил себя за то, что иногда позволял себе слегка осерчать на Бога, поскольку, хотя у мадам Гийон и не было на сей счет никаких указаний, он полагал такие размолвки неотъемлемой частью доверительных отношений.

Все эти превращения произошли с ним между девятью и десятью годами. В этот период отец, по причине больной ноги, повез его с собою в Пирмонт к целебному источнику. Как же радовался Антон предстоящему знакомству с господином фон Фляйшбайном, о котором его отец всегда говорил с таким благоговением, словно тот был каким-то сверхчеловеческим созданием, и не меньше радовался он тому, что сможет дать отчет о своих успехах в обретении истинного благочестия: фантазия его рисовала некий храм, где он будет рукоположен в сан священника и, к удивлению всех знакомых, вернется таковым домой.

Итак, он предпринял свое первое путешествие с отцом, в продолжение которого тот относился к нему несколько добрее обычного и уделял ему больше внимания, чем в домашней обстановке. Антон наблюдал здесь природу во всей ее несказанной красоте. Горы, толпившиеся вокруг до самого горизонта, живописные долины наполняли его душу восторгом и печалью, что во многом объяснялось ожиданием великих событий, которые он надеялся здесь пережить.

Перво-наперво Антон с отцом нанесли в дом господина Фляйшбайна, где отец сначала беседовал с управляющим, господином Х., потом обнял его, поцеловал и обменялся с ним самыми дружескими приветствиями.

Несмотря на сильную боль в ноге, вызванную этим путешествием, Антон, вступая в дом Фляйшбайна, был вне себя от радости. В этот день он оставался в комнате господина Х., с которым ему затем предстояло ужинать каждый вечер. В остальном же, против его ожидания, никто в этом доме не уделял ему особого внимания.

Он продолжал прилежно упражняться во внутренней молитве, однако в этих занятиях, разумеется, не мог изредка не проявляться его детский нрав. За домом в Пирмонте, где отвели комнату его отцу, раскинулся обширный фруктовый сад, там он случайно нашел садовую тачку и любил забавляться, обегая с ней дорожки.

Поскольку же вскоре ему пришлось в голову, что это грех, то, чтобы его оправдать, он пустился в чрезвычайно странную затею. В писаниях мадам Гийон, да и в других книгах ему доводилось много читать про Младенца Иисуса, о котором говорилось, что он одновременно присутствует повсюду и потому с ним можно встретиться и общаться всегда и везде.

Этот детский образ вызвал в нем представление о мальчике, по возрасту еще моложе его самого, и, коль скоро он так сблизился с самим Богом, почему бы еще больше не подружиться с Его Сыном, который, конечно, никогда бы не отказался с ним поиграть и наверняка бы не возражал, если бы его покатали в тележке.

Теперь он почитал за великое счастье катать в тележке столь высокую особу и тем доставлять ей удовольствие; поскольку же особа эта была лишь плодом его воображения, он мог распорядиться ею, как вздумается, и позволять ей наслаждаться катанием то подолгу, то более краткое время; иногда, устав от прогулки, он с величайшим почтением говорил так: «Я с удовольствием покатаю бы тебя еще, но теперь больше не могу».

В конце концов он начал воспринимать это времяпрепровождение как некий вид богослужения и перестал считать за грех, если полдня проводил в саду со своей тележкой.

Теперь, однако, с позволения господина Фляйшбайна, он получил книгу, которая открыла перед ним совсем иной, новый мир. Эта была «*Aeseta philologica*». Из нее он узнал о Троянской войне, об Одиссее, Цирцее, Тартаре, Элизии и очень скоро познакомился по ней со всеми языческими богами. Вскоре после этого ему разрешили прочесть «Телемака», опять-

таки с благословения господина Фляйшбайна, давшего его весьма охотно, поскольку автором романа был сам Фенелон, знакомец мадам Гийон.

«Acerra philologica» основательно подготовила его к чтению «Телемака», ибо благодаря ей он неплохо познакомился с языческой мифологией и заинтересовался участием большинства героев, снова встреченных им в этом романе.

Все эти книги он с жадностью и упоением прочел по нескольку раз – особенно «Телемака», где впервые почувствовал вкус к ладно построенному повествованию.

К числу мест, особенно глубоко его трогавших, принадлежала волнующая речь старика Ментора на Крите, обращенная к юному Телемаку, едва не перепутавшему там добродетель с пороком, – и в этот миг перед ним явился верный, давно числившийся пропавшим Ментор, чей скорбный вид потряс Телемака до глубины души.

Эти рассказы увлекали Антона куда сильнее, чем библейская история и все, что ему довелось прочесть в житиях святых отцов или в писаниях мадам Гийон, а поскольку не нашлось никого, кто объяснил бы ему, где правда, а где вымысел, то он не находил ничего предосудительного в том, чтобы верить в языческие легенды и все, чем они наполнены.

Но и рассказы из Библии он не мог отбросить, тем более что они сделались неотъемлемы от самых ранних впечатлений, воспринятых его душой. В таком положении ему оставалось лишь одно – попытаться елико возможно совместить в своем сознании две системы: Библию с «Телемаком», жития святых отцов с «Acerra philologica», языческий мир – с христианским.

Первое Лицо Божества и Юпитер, Калипсо и мадам Гийон, Рай и Элизий, Ад и Тартар, Плутон и Дьявол – все это вместе образовало самую диковинную смесь понятий, какую только мог вместить человеческий ум, причем она столь сильно повлияла на его мысли, что он еще долго испытывал известного рода благоговение перед языческими богами.

От дома, где остановился отец Антона, до целебного источника и проходившей мимо него аллеи путь был неблизкий. И все же Антон, подволакивая больную ногу, с книгой под мышкой, добирался туда, устраивался на скамейке в аллее и, понемногу забывая о боли, вскоре переносился в воображении со скамейки в Пирмонте на какой-нибудь остров с высокими замками и башнями или в самую гущу боя.

С грустной радостью читал он теперь про гибель героев – она опечалила его, но мнилась неизбежной.

Все это не могло не сказаться на его детских играх. Клочок земли, заросший крапивой и чертополохом, казался ему вражеским войском, в гуще которого он неистовствовал, сшибая палкой головы направо и налево.

Если же он выходил на луг, то уже делал различие между противниками: представлял, как сходятся друг с другом войска желтых и белых цветов. Самые высокие из них он нарекал именами героев, а какому-нибудь одному давал свое имя. Засим он изображал слепой рок, зажмурившись и обрушивая свою палку куда придется.

Потом открывал глаза и окидывал взглядом произведенное им беспощадное опустошение; повсюду на земле лежали распростертые тела героев, и часто он с томительной, но сладкой тоскою замечал среди павших и себя самого.

После этого он недолгое время оплакивал героев и покидал ужасное поле битвы. В городе, где они жили, недалеко от дома его родителей, было кладбище, где росло целое поколение цветов и растений, подвластное его железной руке; не проходило дня, чтобы он не устроил им подобие военного смотра.

Воротившись из Пирмонта в родительский дом, он вырезал из бумаги всех героев «Телемака», расписал, глядя на гравюры, их шлемы и латы и на несколько дней оставил стоять в боевом порядке, пока, наконец, не решил их судьбу: устроил между ними кровавую резню с помощью ножа, в ярости раскроившего кому шлем, кому череп и сеявшего кругом себя лишь смерть и опустошение.

Получалось, что все его игры, например с вишневыми или сливовыми косточками, неизменно заканчивались разгромом и гибелью. Косточки эти тоже попадали под неотвратимую власть слепой судьбы, когда он, разделив их на два войска, сводил друг с другом и с закрытыми глазами колотил по ним железным молотком, и уж кто попал под удар, тому, значит, не повезло.

Убивая хлопущей муху, Антон проделывал это с великой важностью, устроив сначала с помощью какой-нибудь медной вещицы погребальный звон по покойнице. С особым удовольствием он клеил из бумаги маленькие домики и составлял из них городок, чтобы затем спалить его и с унылой сосредоточенностью созерцать оставшиеся горы пепла.

А когда в городе, где жили его родители, однажды ночью действительно загорелся какой-то дом, это известие вызвало в нем ужас, смешанный с тайным желанием, чтобы огонь удалось потушить не сразу.

В сердцевине этого желания лежало отнюдь не злорадство, но смутная тоска по великим переменам, переселениям и революциям, которые обновят облик всех вещей и нарушат однообразие повседневности.

Даже мысль о собственной гибели вызывала у него приступ некоего сладострастия, когда вечерами, прежде чем заснуть, он живо представлял себе распад и разложение своего тела.

Трехмесячное пребывание Антона в Пирмонте во многих отношениях оказалось для него чрезвычайно благотворным, поскольку он почти всегда был предоставлен самому себе и счастливо избегал близости своих родителей; мать оставалась дома, а отец за множеством дел, занимавших его в Пирмонте, мало пекся об Антоне, но когда все же видел его, обходился с ним гораздо мягче, нежели дома.

В одном доме с отцом Антона квартировал некий англичанин, который хорошо говорил по-немецки и уделял Антону больше внимания, чем кто бы то ни было прежде; он начал посредством простого общения учить мальчика английскому языку и чрезвычайно радовался его успехам. Он беседовал с ним, вместе с ним гулял по окрестностям и вскоре почувствовал, что почти не может без него обходиться.

Англичанин этот стал первым другом, которого Антон обрел в этом мире, и расставание с ним было исполнено горечи. Прощаясь, англичанин вложил ему в руку серебряную монету, сказав, чтобы Антон сохранил ее до своего приезда в Англию, где его всегда будет ждать открытый дом; через пятнадцать лет он и вправду добрался до Англии, имея при себе подаренную монету, но первый друг его юности к тому времени уже умер.

Однажды англичанин, находясь дома, попросил Антона сообщить некоему визитеру, будто он в отлучке. Но добиться этого от мальчика оказалось невозможно, так как он ни в какую не соглашался лгать.

Этот поступок высоко поднял его в чужих глазах, но был лишь одним из многих, коими он выказал себя добродетельнее, чем был на самом деле, ибо в иных случаях он без особого труда при необходимости лгал, меж тем как подлинная внутренняя борьба, в пылу которой он приносил свои невиннейшие желания в жертву мнимому неодобрению божества, – эта борьба оставалась никем не замеченной.

Тем временем слава о добродетельном поведении Антона, утвердившаяся в Пирмонте, чрезвычайно его ободрила и несколько подняла его угнетенный дух. Боли в ногах вызывали сострадание к нему, в доме господина Фляйшбайна ему оказывали дружелюбный прием, а сам Фляйшбайн, встречаясь с ним на улице, всякий раз целовал его в лоб. Подобные встречи, для него необычайные и волнующие, прояснили его чело, сделали взгляд более открытым и вселили в него бодрость.

Он также начал писать стихи, воспевая в них все, что видел и слышал. Два сводных его брата учились в Пирмонте портняжному ремеслу у наставников, приверженных учению господина Фляйшбайна. На расставание с ними, а также с домом Фляйшбайна он сочинил и выучил наизусть весьма трогательные стихи.

Возвращение из Пирмонта вышло не таким, как он ожидал, но, что ни говори, за прошедшее короткое время и сам он сделался совсем другим человеком, и духовный его мир значительно обогатился.

Вскоре, однако, из-за возобновившихся раздоров между родителями, усугубленных, вероятно, приездом двух его сводных братьев, из-за нескончаемых перебранок и скандалов, устраиваемых матерью, возвышенные воспоминания о Пирмонте и особенно о доме господина Фляйшбайна потускнели, и он снова очутился в прежней тягостной обстановке, от которой его душа становилась мрачной и нелюдимой.

Сводные братья Антона вскоре оставили их дом, отправившись в странствие, в семье на время снова воцарился мир, и отец Антона теперь сам стал читать вслух не только из мадам Гийон, но иной раз также выдержки из «Телемака» или рассказывал эпизоды древней и новой истории, довольно основательно им пройденной, поскольку помимо занятий музыкой, в коей весьма преуспел практически, он прежде постоянно пополнял свою образованность изучением полезных книг, куда сочинения мадам Гийон не вытеснили все остальное из круга его чтения.

Речь его по этой причине была полна книжных выражений, Антон и теперь помнит, как семи– восьмилетним мальчиком он внимательно вслушивался в речь отца и удивлялся, что слова на – *ание*, – *ение* или – *ство* были ему совершенно непонятны, тогда как остальные не представляли никакого труда.

Кроме того, вне дома отец Антона слыл весьма обходительным человеком и умел поддерживать приятную беседу обо всем и вся. Возможно, и в семейной жизни все пошло бы на лад, не имей мать Антона злосчастного обыкновения постоянно и даже охотно становиться в позу обиженной и оскорбленной – порой безо всякого повода, – и то и дело напускать на себя траур, испытывая своего рода сострадание к самой себе и тем себя улаждая.

К несчастью, сын, по всей видимости, унаследовал этот ее душевный недуг, с которым доньне принужден бороться, порой безуспешно.

Еще в детстве, когда приходилось делить что-либо на всех и надлежащая ему часть была отложена, но ему забывали об этом сказать, он предпочитал оставить ее нетронутой, хотя отлично знал, что предназначалась она именно ему, – и все это лишь затем, чтобы испытать сладость несправедливой обиды и заявить: другим еще кое-что достается, но только не мне! Но если даже мнимая несправедливость так сильно его задевала, то насколько же больнее отзывалась в нем несправедливость подлинная. И конечно, никто так остро не чувствует несправедливость, как дети, и никому столь часто и невзначай ее не причиняют, как им, – истина, о которой всем педагогам стоило бы помнить ежедневно и ежечасно.

Нередко Антон часами размышлял, тщательно взвешивая разные доводы и основания: насколько справедливым – или несправедливым – было то или иное наказание, назначенное ему отцом.

В одиннадцать лет он впервые испытал несказанное удовольствие, пристрастившись к запретным книгам.

Его отец был заклятым врагом романов и грозился сжечь первый же, что попадет в доме ему под руку. И все-таки Антону с помощью тетки удалось раздобыть роман про прекрасную Банизу, сказки «Тысячи и одной ночи» и «Остров Фельзенбург», которые он украдкой, хотя и с ведома матери, прочел, вернее, жадно проглотил, затаясь в чулане.

То были сладчайшие часы его жизни. Входя к нему, мать всякий раз пугала его приближением отца, хотя сама не запрещала ему читать эти книги, которыми успела насладиться еще прежде Антона.

Повесть об острове Фельзенбург произвела на Антона весьма сильное впечатление, вознося на небывалую высоту его мечты, в коих он отвел себе ни много ни мало великую мировую роль собирателя сперва небольшого, но постепенно растущего круга людей, избравших его

своим средоточием: круг этот раздавался все шире, и под конец буйная фантазия Антона стала вовлекать в него также животных, растения и неодушевленные создания природы – словом, все, что его обступало в жизни, и весь этот хоровод кружился вокруг него, покуда голова у него не начинала идти кругом.

В ту пору игра воображения нередко наполняла его таким блаженством, какое ему едва ли довелось испытать впоследствии.

Итак, воображение составляло главные горести и радости его детства. Как часто пасмурным днем, когда он, исполненный отвращения и досады, сидел взаперти в своей комнате, сквозь оконное стекло вдруг проникал луч солнца, и тогда в нем неожиданно пробуждались мечты о рае, об Элизии, об острове нимфы Калипсо и долгие часы улаждали его душу.

Но уже с двух– или трехлетнего возраста память Антона хранила поведенные матерью и теткой небылицы об адских муках, не оставлявшие его ни днем, ни ночью: во сне он нередко видел себя окруженным добрыми знакомцами, которые ни с того ни с сего начинали скалиться на него, до неузнаваемости искажая свои лица отвратительными гримасами, или он взбирался сумрачной тропой куда-то ввысь, а некто ужасный преграждал ему дорогу назад, либо сам черт являлся ему в виде рябой курицы или черного платка на стене.

Пока он с матерью жил в деревне, каждая встречная старуха нагоняла на него страх и ужас, так много он наслушался рассказов про ведьм и колдуний; а когда ветер в их домике насвистывал причудливую мелодию, мать не задумываясь прибегала к аллегории и замечала, что это свистит безрукий человек.

Она бы не стала так говорить, если б знала, скольких томительно-страшных часов и бессонных ночей будет стоить ее сыну этот безрукий человек.

Но подлинным чистилищем для Антона неизменно становились четыре предрождественские недели, – чтобы их избежать, он охотно отказался бы даже от елки, утыканной восковыми свечками и увешанной посеребрёнными яблоками и орехами.

В такую пору не проходило дня, чтобы до него не доносился либо странный гул колоколов, либо какой-то шорох за дверью, либо глухой голос, принадлежавший не иначе как предвестнику Рождества пресловутому кнехту Рупрехту, которого Антон искренне почитал за духа или за сверхчеловеческое существо, поэтому не было и ночи, чтобы он внезапно не просыпался от ужаса весь в холодном поту.

Так продолжалось до его восьмилетнего возраста, когда вера в Рупрехта, а равно и в Христа начала в нем постепенно угасать.

Вдобавок мать внушила ему и детский страх перед грозой. Единственный способ обещаться он видел в том, чтобы крепко сцепить руки и не разжимать их, пока гроза не утихнет; это да еще крестное знамение было ему оберегом и опорой, когда он засыпал в одиночестве: он верил, что так избавляет себя от козней, чинимых дьяволом и привидениями.

У матери было странное выражение: кто хочет удрать от привидения, говорила она, у того пятки начинают расти; и он вправду ощущал этот рост всякий раз, когда в темноте ему виделось что-нибудь похожее на привидение. Про умирающих она говаривала, будто смерть сидит у них на языке, Антон и это воспринял буквально, и когда у его тетки умирал муж, он приблизился к его постели и вперился ему в рот, пытаясь разглядеть на кончике его языка смерть в образе маленькой черной фигурки.

Впервые он вырвался из круга своих детских представлений приблизительно на пятом году жизни, когда еще жил с матерью в деревне и однажды вечером они сидели в комнате вместе со старой соседкой и его сводными братьями.

Разговор коснулся младшей сестры Антона, чья недавняя смерть в двухлетнем возрасте причинила матери безутешные страдания, не оставлявшие ее почти целый год.

«Где-то теперь наша Юльхен?» – проговорила она после долгой паузы и снова замолчала. Антон глянул в окно, где ни единый луч света не пробивался сквозь ночной сумрак, и вдруг

впервые постиг действие чудесной оградительной силы, которая отделила его прежнюю жизнь от нынешней почти так же, как бытие отделено от небытия.

«Где-то теперь наша Юльхен?» – подумал он вслед за матерью, и в это мгновение в его душе стремительно пронеслись, сменяя друг друга, представления о близости и дали, тесноте и шире, о настоящем и будущем. Тогдашнее его ощущение не описать пером, тысячу раз оно вновь оживало в его душе, хотя и лишенное первоначальной силы.

Сколь же оно благодатно, это ограждение, из коего мы, однако, всеми силами пытаемся вырваться! А ведь именно оно создает счастливый островок среди бушующего моря; блажен, кто мирно поживает на его лоне, не опасаясь быть разбуженным, ему не грозят никакие бури. Но горе тому, кто, подстрекаем злосчастным любопытством, рвется прочь, на ту сторону туманной горной гряды, спасительно окаймляющей горизонт.

Он будет носиться туда-сюда по бурным волнам забот и треволений в поисках неведомых земель, прячущихся во мгле, и островок, где он прежде жил столь беззаботно, утратит для него свою прелесть.

Одно из прекраснейших воспоминаний Антонова детства – как мать, закутав его в свое платье, бежит с ним на руках под хлещущим проливным дождем. В маленькой деревне жизнь казалась ему раем, но за голубой дымкой гор, неодолимо притягивающих взгляд, его уже подстерегали страдания, которым предстояло отравить его детские годы.

Коль скоро я повернул повествование вспять, дабы описать первые впечатления Антона и его представления об окружающем мире, уместно будет привести еще два самых ранних его воспоминания о том, как он ощущал людскую несправедливость.

Он до сих пор ясно видит себя на втором году жизни, когда они с матерью еще не жили в деревне, как он бежит по улице перед домом и, увидев богато одетого человека, кидается ему под ноги и начинает изо всех сил колотить его своими ручонками, словно пытаясь доказать себе и другим, что ему причинили несправедливость, хотя внутри чувствует, что обидчик – он сам.

Это воспоминание примечательно своей необычностью и яркостью и вполне достоверно, поскольку в силу незначительности самого происшествия, едва ли кто-то позже ему об этом рассказывал.

Второе воспоминание относится к четвертому году жизни Антона: мать выбрала его за неповиновение – он раздевался, и вышло так, что какая-то часть его платья с шорохом упала на стул; мать решила, что он швырнул ее туда из упрямства, и сурово его наказала.

Это была первая настоящая несправедливость, которая глубоко его ранила и запомнилась навсегда; с тех пор он стал считать свою мать несправедливой и при каждом следующем наказании неизменно припоминал этот случай.

Я уже говорил, какой рисовалась ему в детстве смерть. Изменилось это лишь на десятом году, когда к его родителям зашла соседка и рассказала, как ее двоюродный брат, горнорабочий, сорвался с лестницы в шахту и размозжил себе голову. С тех пор он испытывал сильный страх смерти, доставивший ему много горестных минут.

Антон слушал ее очень внимательно и при упоминании о разбитой голове вдруг ясно вообразил полное прекращение мыслей и чувств, а также исчезновение, отсутствие самого себя, и это воспоминание потом всякий раз наполняло его страхом и ужасом. С тех пор он испытывал сильный страх смерти, доставивший ему много горестных минут.

Мне остается сказать кое-что о первых воззрениях на Бога и мир, сложившихся у него примерно в десятилетнем возрасте.

Часто, когда небо заволакивало тучами и горизонт совсем сжимался, им овладевала смутная тревога: что, если весь мир покрыт одним сводом, как покрыта потолком комната, в которой он живет? Когда же он поднимался в мыслях над этим сводом, мир представлялся ему

чрезвычайно маленьким, и ему думалось, будто этот мир целиком содержится в другом мире, тот – в третьем, и так снова и снова.

Примерно так же представлял он себе и Бога, когда пытался помыслить его как высшее существо.

Однажды пасмурным вечером он сидел у порога своего дома и размышлял о Боге, поглядывая то на небо, то снова на землю, и вдруг заметил, что даже по сравнению с сумрачным небом земля совсем черная и непроглядная.

Бога он воображал себе пребывающим за небесами, но даже высочайший Бог, какого только могла сотворить его мысль, казался ему слишком маленьким, над ним непременно должен быть еще один, перед которым первый неразличим в своей малости, и так до бесконечности.

Обо всем этом ему не доводилось ни читать, ни от кого-либо слышать. Но самое удивительное, что упорные размышления и сосредоточенность на своей внутренней жизни развили в нем эгоизм, который едва не лишил его рассудка.

Поскольку же его сновидения отличались большой живостью и казались почти неотличимы от действительности, он решил, что спит и днем и что окружающие люди, а равно и все остальное, что он видит, суть плоды его воображения.

Эта мысль всегда наводила на него ужас и внушала страх перед самим собой, поэтому он всячески старался как-нибудь отвлечься и отогнать ее.

Теперь, после небольшого отступления, мы вновь обратимся к хронологическому порядку повествования о жизни Антона, которого мы оставили за чтением романов про прекрасную Банизу и про остров Фельзенбург. Теперь он получил для чтения «Разговоры мертвых» Фенелона и басни того же автора, а учитель каллиграфии стал учить его составлять письма и писать сочинения на разные темы.

Подобного воодушевления Антон никогда прежде не испытывал. В этой работе он использовал свой читательский опыт и повсюду вставлял подражания прочитанному, чем снискал одобрение и уважение своего учителя.

Его отец как музыкант участвовал в концерте, где исполнялась кантата Рамлера «Смерть Иисуса», и принес домой отпечатанный текст этого произведения. Последний содержал в себе так много привлекательного для Антона и настолько превосходил все, что ему доселе приходилось читать в поэтическом роде, что он часто и с великим воодушевлением перечитывал его, пока не вытвердил почти наизусть.

Благодаря одному лишь этому постоянно перечитываемому произведению у него выработался определенный и довольно твердый поэтический вкус, который уже не покидал его впоследствии; таким же образом в прозе стал для него Фенелонов «Телемак», ибо он остро чувствовал, что и «Баниза», и «Остров Фельзенбург», какую бы усладу они ни доставляли ему при чтении, все же содержали в себе нечто кричащее и не вполне благородное.

Из поэтической прозы ему в руки попал «Даниил во львином рву» Карла фон Мозера; он перечитал эту вещь несколько раз, вдобавок отец имел обыкновение читать вслух выдержки из нее.

Вновь наступил курортный сезон, и отец Антона решил взять его с собой в Пирмонт, но на сей раз Антон не испытывал прежней радости, так как мать поехала вместе с ними.

Нескончаемые запреты и мелкие придирки, беспрестанные выговоры и наказания, каждый раз приходившиеся некстати, отравляли высокие переживания, памятные ему по прошлому году; его склонность к получению похвал и одобрению оказалась из-за этого настолько подавленной, что в конце концов он, во многом вопреки своей натуре, стал находить своеобразное удовольствие в общении с чумазыми уличными мальчишками и в общих шалостях с ними – просто потому, что отчаялся снискать в Пирмонте любовь и уважение, утраченные им из-за матери, которая не только с отцом, когда тот бывал дома, но и с совсем чужими людьми

постоянно вела разговоры о его плохом поведении, отчего оно и впрямь начало ухудшаться и само его сердце, наверно, стало портиться. Теперь он все реже бывал в доме господина Фляйшбайна, и время, проведенное в Пирмонте, промелькнуло для него печально и безотраднo – он часто с грустью вспоминал о радостях прошлого года, хотя на этот раз ему уже не приходилось терпеть мучительные боли в ноге, ибо после удаления поврежденной кости нога стала заживать.

Вскоре по возвращении семьи в Ганновер Антону пошел двенадцатый год, и теперь ему снова предстояли большие жизненные перемены, ведь в этом году он расстанется с родителями. Но прежде его ждала впереди великая радость.

Отец Антона, по совету знакомых, определил его в городскую школу для прохождения частных уроков латыни, чтобы он при случае, как говорится, не запутался в падежах. Никаких иных школьных занятий, среди которых главным было преподавание Закона Божия, отец, к великому огорчению матери и родственников, для Антона не предусмотрел.

Итак, одно из заветнейших желаний Антона – посещать публичную школу – отчасти исполнилось.

При первом визите толстые стены школы, сумрачные своды классных комнат, вековые скамьи, источенные червями кафедры – все вместе произвело на Антона впечатление святилища и наполнило его душу благоговением.

Конректор, маленький подвижный человечек, несмотря на физиономию, далекую от торжественной серьезности, все же внушил Антону глубокое уважение своим черным кафтаном и стриженным париком.

Этот человек держался со школярами на довольно дружеской ноге, обращаясь ко всем обыкновенно на «вы», за исключением четырех старших, которых он в шутку называл ветеранами и предпочитал на старинный лад обращаться к ним в третьем лице.

Хотя он был весьма строг, Антон не слышал от него ни одного упрека, а тем паче ни разу не бывал бит, поэтому у него сложилось убеждение, что в школе можно найти больше справедливости, чем в родительском доме.

Теперь он начал учить наизусть грамматику Доната, правда удивив всех своим выговором: когда его, уже на втором занятии, попросили просклонять существительное *mensa* – стол, он в словах *singulariter* и *pluraliter* делал ударение на предпоследнем слоге, так как, готовя урок, в силу созвучия этих слов с *amoriter* – *аморреи* и *jebusiter* – *иевусеи*, решил, что они тоже суть названия народов и что у народа *singulariter* принято было говорить – *mensa*, а у народа *pluraliter* – *mensae*.

Как часто случаются подобные недоразумения, если учитель, довольствуясь первыми же словами ученика, не стремится уяснить себе его понятие о предмете!

Наступила пора зубрежки. Вскоре он уже мог без запинки выпалить *amo*, *amet*, *amas*, *ames*, а через шесть недель вытвердил назубок все, что надлежит – *oportet*, зная школьнику его класса; при этом он ежедневно учил новые вокабулы, а поскольку ни разу не пропустил ни одну, то за короткое время, продвигаясь с одной ступени на другую, вплотную приблизился к статусу «ветерана».

Сколь завидная доля, сколь чудесное поприще для Антона, впервые открывшего для себя путь к славе, о чем он так долго и безнадежно мечтал!

Даже дома он всякую минуту старался тогда провести с пользой – по утрам, пока родители пили кофе, он взялся читать им вслух из «Подражания Христу» Фомы Кемпийского и делал это с большим удовольствием.

Затем следовало обсуждение прочитанного, и ему позволялось время от времени вставить в разговор свое слово. Впрочем, более всего он наслаждался пребыванием вне дома – регулярно, в одни и те же часы, посещал еще и уроки каллиграфии своего старого учителя,

которого, несмотря на изредка получаемые подзатыльники, любил столь искренне, что мог бы пожертвовать для него всем.

Ибо этот человек часто вел с ним и другими учениками дружеские и поучительные беседы, поскольку же по натуре своей он казался довольно суровым, его дружелюбие и доброта тем паче трогали Антона и подкупали его сердце.

Итак, в течение нескольких недель положение Антона было вдвойне счастливым, но скоро его блаженство было разрушено! Чтобы он не чересчур надмевался своим счастьем, ему на первый случай уже приуготовлялись жестокие унижения.

Хотя теперь он проходил учение в обществе благопристойных детей, мать заставляла его делать по дому работу, приличную разве что самой последней служанке.

Ему приходилось носить воду, покупать в лавке масло и сыр и, словно женщина, с корзиной в руке, ходить на базар за провизией.

Надо ли говорить, сколь глубоко он был уязвлен, когда однажды поймал издевательскую улыбку на лице более счастливого товарища, случайно встретившегося ему на улице.

И все же он с готовностью переносил эти страдания ради счастья посещать латинскую школу, где за два месяца преуспел настолько, что мог выполнять общие задания с четырьмя так называемыми ветеранами, сидевшими за первым столом.

В один из дней отец повел его к достопримечательному в Ганновере человеку, которого неоднократно упоминал прежде в разговорах. Звали этого человека Тишер и было ему от роду сто пять лет.

В свое время он превзошел теологию и теперь состоял наставником при детях богатого купца, который некогда тоже ходил у него в учениках, ныне же и сам приближался к старческому возрасту и содержал бывшего учителя в своем доме.

В пятьдесят лет Тишер оглох, и если кто хотел с ним говорить, то должен был запастись пером и чернилами, дабы писать свои мысли на бумаге, он же отвечал голосом внятным и отчетливым.

В свои сто пять лет он без очков читал по-гречески Новый Завет, напечатанный в его книге мелким шрифтом, и говорил весьма разумно и связно, хотя порой слишком тихо или чересчур громко, так как сам не мог слышать своей речи.

В доме его звали не иначе как старцем. Ему приносили еду и необходимые вещи, в остальном же он не требовал особого ухода.

Итак, однажды вечером, когда Антон сидел над своим Донатом, отец взял его за руку и сказал: «Пойдем, я отведу тебя к человеку, в котором ты узнаешь вместе и святого Антония, и святого Павла, и праотца Авраама».

По пути отец подготавливал Антона к предстоящей встрече.

Они вошли в дом. Сердце Антона отчаянно колотилось.

Они пересекли длинный двор и поднялись по маленькой винтовой лестнице, приведшей в длинный темный коридор, пройдя который, они снова поднялись по какой-то лестнице, а затем спустились на несколько ступенек вниз – Антону казалось, что он блуждает по лабиринту.

Наконец, по левую руку они увидели свет, проникавший сквозь стекла из другого окна.

Уже наступила зима, и дверь снаружи была завешена сукном; отец Антона толкнул ее, и перед ними в сумеречном свете открылась просторная комната с высоким потолком и темными шпалерами на стенах; в середине ее за столом, на котором было разбросано множество книг, сидел в креслах сам старец.

Сняв головной убор, он поднялся им навстречу.

Возраст не согнул его спину, это был высокий мужчина величественного и статного вида. Лоб его обрамляли белоснежные локоны, глаза излучали несказанное дружелюбие. Они сели.

Антонов отец написал ему что-то на листке. «Давайте помолимся, – ответил старец после недолгой паузы, – и пусть мой маленький друг к нам присоединится».

Затем он, вновь обнажив голову, преклонил колени, отец Антона – справа от него, сам Антон – слева.

Действительность, что и говорить, превзошла все рассказы отца. Антону виделось, что он и впрямь стоит на коленях подле одного из апостолов Христа, и сердце его молитвенно устремилось ввысь, когда старец простер руки и вознес к небу горячую молитву, то повышая, то понижая голос.

Его слова звучали так, будто всеми помыслами и чаяниями он уже переступил могильную черту и лишь случай задерживает его на земле чуть дольше, чем сам он надеялся.

Оттого все его мысли были как бы почерпнуты из иного мира и во время молитвы, казалось, заставляли светиться особым светом его глаза и чело.

Закончив молитву, они поднялись с колен, и теперь Антон сердцем чувствовал старика как высшее, почти сверхчеловеческое существо.

И когда в тот вечер он вернулся домой, у него пропало всякое желание идти на улицу кататься со школьными товарищами на салазках: ему представилось, что этим неблагочестивым поступком он осквернил бы прошедший день.

Теперь отец стал постоянно отпускать Антона к старику, и вскоре мальчик проводил у того в доме почти все время, что не был занят в школе.

Он стал пользоваться его библиотекой, состоявшей по большей части из мистических сочинений, которые Антон тщательно прочитывал от доски до доски. Кроме того, он все время давал старику отчет о своих успехах в латинском и сочинительстве для учителя каллиграфии. Так протекло несколько счастливейших месяцев в жизни Антона.

И вдруг, в это самое время, словно гром среди ясного неба грянул над головой Антона – ему сообщили ужасную новость: его лишают латинских занятий и переводят в другую школу.

Слезы и мольбы не помогли, приговор был произнесен. О прекращении латинских занятий он узнал за две недели и чем больше успехов теперь делал, тем сильнее страдал.

Тогда он прибег к средству, облегчившему ему расставание со школой, но такому, мысль о коем едва ли можно заподозрить в мальчишке его возраста. Вместо того чтобы продолжать старания, он стал либо отвечать выученный урок небрежно, либо как-нибудь иначе способствовать своему отставанию, неуклонно спускаясь со ступени на ступень, чего ни конректор, ни одноклассники никак не могли взять в толк и всячески выражали ему удивление.

Антон один знал причину происходящего и носил в себе тайное горе, не расставаясь с ним ни дома, ни в школе. Каждая ступень, на которую он добровольно спускался, стоила ему многих втихомолку пролитых слез, но сколь ни горькое лекарство он себе прописал, оно действовало.

Он предусмотрел все таким образом, чтобы ровно в последний день оказаться на самом последнем месте. Но решиться на это уже не смог. Слезы стояли у него в глазах, когда он просил в последний раз оставить его на прежнем месте, завтра же он и сам пересядет в конец.

Слова его вызвали всеобщее сочувствие, и он был оставлен в покое. Назавтра месяц кончился, и Антон больше не появился в школе.

О том, сколь дорого обошлась ему эта добровольная жертва, можно судить по труду и усилиям, затраченным им на восхождение по каждой из ступеней.

Как часто, когда конректор стоял в шлафроке у окна, Антон, проходя по двору, говорил себе: о, как хорошо было бы излить сердце этому человеку; но ему мнилось, что расстояние между ним и его учителем слишком велико.

Вскоре после этого, несмотря на все его просьбы и мольбы, он был разлучен и с дорогим ему учителем каллиграфии.

Правда, тот проглядел несколько допущенных мальчиком погрешностей в тетрадах по письму и счету, что рассердило отца Антона.

Антон с величайшим жаром взял всю вину на себя, что было сил божился и клялся впредь не допускать таких ошибок, но напрасно; ему пришлось покинуть старого верного учителя – с начала месяца его отдали учиться письму в общую городскую школу.

Оба удара, пришедшиеся одновременно, оказались слишком тяжелы для Антона.

На первых порах он еще пытался ухватиться за последнюю опору и, не желая отстать от прежних товарищей, просил их сообщать ему школьные задания, чтобы выполнять их дома, но из этого ничего не вышло, и тогда он заглушил в себе прежние добродетели и набожность и вскоре, поддавшись тоске и отчаянию, сделался одним из тех, кого принято называть скверными мальчишками.

В школе он умышленно навлек на себя удары и переносил их с упорством и мужеством, не меняясь в лице, что доставляло ему удовольствие, надолго сохранившееся в его памяти.

Он дрался и бился с уличными мальчишками, прогуливал занятия и при каждом удобном случае мучил собаку, жившую у его родителей.

В церкви, где некогда слыл образцом набожности, он теперь во время службы только и делал, что болтал со сверстниками.

Нередко он ясно сознавал, что ступил на скользкую дорожку, и тогда с тоскою вспоминал о своем прежнем горячем желании стать благочестивым человеком, но все его порывы к раскаянию тотчас заглушались презрением к себе и неотвязной досадой, и он снова искал рассеяния в сумасбродных проказах.

Мысль о том, что его заветным желаниям и надеждам не суждено сбыться и что поприще славы, на которое он было ступил, теперь навеки ему заказано, хотя и не всегда отчетливо присутствовала в его сознании, все же точила его непрестанно и толкала на всяческие бесчинства.

Он стал лицемером перед Богом, перед людьми и перед самим собою.

Утреннюю и вечернюю молитву по-прежнему вычитывал по часам, но уже без всякого чувства.

Приходя к старцу, теперь из притворства и с постной миной проделывал все то, что раньше совершал с открытым сердцем; прибегал к заученным словам, изображая томление и устремленность к Богу – и все это, чтобы сохранить расположение старика.

Больше того, он мог тайком посмеиваться, пока старец читал его записки.

Так он постепенно стал предавать своего отца, до которого дошла молва: теперь Антон уже совсем не тот мальчик, что три года назад, когда в Пирмонте отказался солгать, будто англичанина нету дома.

Поскольку же Антон отдавал себе отчет, что как раз тогда поступил так скорее из особого жеманства, чем из отвращения ко лжи, то и говорил себе: если для снискания любви окружающих требуется так мало, значит, нечего и тратить на это больших усилий. И в этом своем ханжестве он в короткое время зашел столь далеко – скрывая его, однако, от самого себя, – что его отец в переписке с господином Фляйшбайном, рассказав о состоянии души Антона, просил у него совета в этом вопросе.

Между тем Антон, осознав серьезность своего положения, стал и сам относиться к оному серьезнее и временами со всей истовостью давал себе зарок оставить дурное поведение и обратиться к добру, так как уже не мог скрывать от себя свое лицемерие.

Но тут перед ним пронеслись годы, минувшие со времени его прежнего, подлинного обращения, и он представил себе, сколь многому мог бы научиться, проживи их иначе. Все эти мысли делали его донельзя угрюмым и мрачным.

Вдобавок он прочел в доме у старика книгу, где путь к спасению через раскаяние, веру и богоугодную жизнь был подробно описан посредством различных примет и признаков.

Покаянию должны сопутствовать слезы, угрызения совести, сердечное сокрушение и скорбь, и все это он у себя находил.

Вера сопровождается особым весельем и неотделима от душевного доверия к Богу, и это тоже у него было.

Но третьего и неперменного, богоугодной жизни, он достичь никак не мог.

Антон верил, что если кто желает быть набожным и благочестивым, то надобно оставаться таковым каждое мгновение, в каждом жесте и выражении лица и даже в мыслях ни на минуту не забывать о благочестии.

Он же, естественно, нередко забывал об этом: в его лице не хватало серьезности, в походке – степенности, а мысли постоянно отвлекались на вещи земные и светские.

Итак, думал он, все упущено, он ровным счетом ничего не достиг и теперь должен все начинать сначала.

В подобных метаниях он иногда пребывал часами, и это состояние мучило его и пугало.

И тогда он опять, но с неотступным страхом и колотящимся сердцем, предавался своим прежним проказам.

А затем сызнова начинал труд покаяния и так постоянно кидался туда и обратно, не находя себе ни покоя, ни удовлетворения, понапрасну отравляя себе невиннейшие радости юного возраста, но и в другом не продвигаясь ни на шаг.

Эти нескончаемые метания, ко всему прочему, в точности воспроизводили образ жизни его отца, которому и в его пятьдесят приходилось не слаще, но, невзирая на это, он все еще надеялся обрести истину, к коей так долго и тщетно стремился.

С Антоном дело поначалу обстояло не так уж худо: его благочестие потерпело великий ущерб, лишь когда ему было отказано в изучении латыни; в сущности, оно родилось в нем от страха и принуждения, потому-то он так долго и топтался на месте.

Где-то он прочел, что заниматься самосовершенствованием не только бесполезно, но и вредно и что человеку следует покорно сносить жизнь и предоставить действовать Божьей благодати, поэтому он часто и от всего сердца молился так: Господи, обрати меня, дабы мне обратиться! Но все тщетно.

Тем летом отец снова уехал в Пирмонт, и Антон написал ему, с каким трудом продвигается у него дело самоисправления, и что, возможно, он заблуждается на сей счет и это дело под силу лишь божественной благодати.

Мать сочла все это письмо за чистое лицемерие, от коего он и вправду еще не вполне освободился, и своей рукой подписала внизу: «Антон ведет себя точно так же, как остальные беспутные мальчишки».

Сам же он хорошо знал, какая нешуточная борьба с самим собою разгорается у него внутри, и потому неудивительно, что сравнение со школьными беспутниками было ему до крайности обидно.

Это так больно его ранило, что он снова и уже надолго выбился из колеи, нарочно связавшись с самыми буйными из своих товарищей, а материнская брань и ее фальшивые проповеди лишь укрепляли его в этом: они настолько уничижали его, что в конце концов он и сам стал считать себя обычным уличным мальчишкой и тем усерднее искал их общества.

Продолжалось это до тех пор, пока отец Антона не вернулся из Пирмонта. И перед Антоном открылись совершенно новые виды на будущее.

Еще в январе мать разродилась близнецами, из которых выжил лишь один, и крестным отцом к нему был приглашен некий шляпник из Брауншвейга, по имени Лобенштайн.

Он тоже был приверженцем господина Фляйшбайна – обстоятельство, благодаря которому отец Антона знал его уже несколько лет.

Поскольку же теперь Антона надлежало отдать в обучение какому-нибудь мастерству (ведь оба его сводных брата, пусть и против своей воли, уже овладели каждый своим ремеслом,

к чему отец принудил их силой) и поскольку шляпник Лобенштайн как раз подыскивал себе ученика, которому на первых порах полагалось стать простым подручным, то вот и превосходнейшая стезя для Антона, решил отец: теперь и он, подобно двум своим братьям, в столь раннем возрасте будет приставлен к благочестивому учителю, к тому же последователю господина Фляйшбайна, и содержаться им в подлинной набожности и благочестии.

Предположительно, отец Антона уже давно питал этот замысел, потому-то, вероятно, и забрал сына заблаговременно из латинской школы.

Но еще со времени пребывания в оной в голове у Антона прочно утвердилось желание учиться, ибо он безгранично уважал всех тех, кто учился и носил черный кафтан, так что он почитал таких людей чуть ли не сверхъестественными существами.

Что же могло быть естественнее, чем его стремление к тому, что казалось ему достойнейшим на всем свете?

Говорили, что шляпник Лобенштайн из Брауншвейга желает принять к себе Антона как друг, Антон будет ему словно родное дитя и станет выполнять легкую и чистую работу: записывать счета, состоять на посылках и проч., затем ему предстояло два года учиться в школе, в завершение пройти конфирмацию и окончательно избрать себе дело жизни.

Все это звучало для Антона до крайности заманчиво, особенно пункт про школу, ибо, полагал он, если удастся добраться до этой цели, то уже ничто не помешает ему отличиться среди лучших, так что средства и возможности для дальнейшего учения откроются сами собой.

Вместе с отцом он написал письмо шляпнику Лобенштайну, которого заранее полюбил всей душой и уже радостно предвкушал те дивные времена, что проведет рядом с ним.

А как прельщала его перемена места!

Пребывание в Ганновере с его однообразными и давно приевшимися улицами и домами стало ему несносно: воображению то и дело рисовались башни, ворота, крепостные валы и замки, одна картина теснила другую.

Он не находил покоя и считал часы и минуты до отъезда.

Наконец желанный день настал. Антон попрощался с матерью и двумя братьями, из которых старшему, Кристиану, было пять лет от роду, а младшему, Симону, названному в честь шляпника Лобенштайна, едва исполнился год.

Отец его сопровождал, и до места они добирались частью пешком, частью – в недорогих попутных экипажах.

Впервые в жизни Антон вкусил радость пешего путешествия, каковую впоследствии ему довелось испытывать даже слишком часто.

Чем ближе они подходили к Брауншвейгу, тем сильнее билось сердце Антона от нетерпения. Башня святого Андрея с ее красным куполом являла собой величественное зрелище.

Опустились сумерки. Антон издали различал часовых, расхаживающих взад-вперед по высокому крепостному валу.

Тысячи представлений о том, как выглядит его будущий благодетель, каков его возраст, походка, выражение лица, возникали и вновь исчезали в его уме.

В конце концов он создал себе столь прекрасный образ, что заранее полюбил этого человека.

Антон вообще с раннего детства имел побуждение уже по звукам имени незнакомого человека или города составлять представление о том, кто или что за этим именем скрывается.

Главную роль при создании образа играла высота гласных, составляющих имя.

Так, имя *Ганновер* своим звучанием всякий раз рождало ощущение некоего великолепия, и, еще прежде чем очутиться в этом городе, он уже воображал себе высокие дома и башни, залитые чистым и ярким светом.

Брауншвейг казался ему вытянутым, более сумрачным и важным, а Париж – опять-таки по смутному предчувствию, навеянному его именем, – состоящим большей частью из домов светлых и белых.

Все это, однако, вполне соответствует нашей природе, ибо над всякой вещью, о которой неизвестно ничего, кроме имени, душа трудится, стараясь набросать ее образ с помощью отдаленнейших подобий, и за отсутствием других аналогий вынуждена прибегать к имени, которое произвольно присвоено этой вещи и в котором она различает звуки твердые и мягкие, насыщенные и бесцветные, высокие и низкие, глухие и звонкие и устанавливает между ними и видимыми предметами род аналогии, подчас случайно верной.

При имени Лобенштайн Антону виделся человек несколько долговязый, по-немецки прямодушный, с чистым открытым лбом.

Однако на сей раз толкование имени навело его на ложный путь.

Начинало уже смеркаться, когда Антон с отцом, преодолев большой подъемный мост и миновав сводчатые ворота, оказались в Брауншвейге.

Пройдя множеством тесных проулков, мимо замка, они добрались наконец до довольно глухой улицы, где, напротив длинного казенного здания, жил шляпник Лобенштайн.

Вот и его дом – темно-серый фасад с большой черной дверью, обитой множеством гвоздей.

Над входом вывеска с нарисованной шляпой и выведенным подле нее именем Лобенштайна.

Старуха-домоправительница отворила им дверь и провела направо, в большую комнату, стены которой были обшиты досками, выкрашенными темно-коричневой краской. На них, приглядевшись, можно было различить полустершееся изображение пяти органов чувств человека.

Здесь и встретил их хозяин дома. Человек средних лет, скорее малорослый, чем высокий, с еще довольно свежим, но бледным лицом, которое если и меняло свое меланхолическое выражение, то лишь ради беглой улыбки, поровну горестной и медоточивой; черные волосы, мечтательно-отсутствующий взгляд; речь, не чуждая известной утонченности и деликатности; движения и жесты, каких не встретишь среди ремесленного люда, и обыкновение говорить до крайности медленно и затрудненно, до бесконечности растягивая слова, особенно когда разговор заходил о благочестивых материях. Взгляд его из-под черных сдвинутых бровей становился нестерпимо сверлящим, стоило ему нахмуриться из-за подлости и злокозненности кого-нибудь из сынов человеческих, в особенности из числа соседей или собственных его работников.

В первый раз он предстал Антону в зеленой меховой шапке, голубой манишке и коричневом камзоле под черным фартуком – обычном своем домашнем наряде, и мальчик сразу понял, что вместо друга и благодетеля обрел сурового хозяина и наставника.

Вся заранее приуроченная сердечная любовь угадала, как залитая водою искра, когда холодная, сухая и властная мина на лице чаемого благодетеля ясно выразила: ни на что иное, как на положение ученика, рассчитывать ему не приходится.

В те немногие дни, что его отец оставался в доме Лобенштайна, Антону еще оказывали некоторые послабления, но по отъезде отца велели приняться за работу наравне с другим учеником.

Его использовали на самых низких работах: он колот дрова, носил воду и подметал мастерскую.

Но как бы разительно ни отличалось все это от его ожиданий, трудности отчасти искупались прелестью новизны, и он в самом деле испытывал известное удовольствие, даже когда мел комнату, колот дрова и носил воду.

Однако его фантазия, расцветившая все вокруг, пришлось в этом случае весьма кстати. Просторная мастерская с ее черными стенами, погруженными в зловещий сумрак, разгоняе-

мый по утрам и вечерам лишь несколькими лампами, нередко казалась ему храмом, где он отправляет службу.

По утрам он разводил под большими котлами живительный священный огонь, тем самым подчиняя наступающий день трудам и заботам и давая применение многим рукам.

Вдобавок он воспринимал эту работу как род служения, наделенного известным достоинством.

Сразу за мастерской протекал Окер, на берегу были сбиты мостки для зачерпывания воды.

Антон воспринимал все это как свои владения и порою, управившись с уборкой, наполнив водой громадные вмурованные в стену котлы и разложив под ними огонь, от души радовался сделанной работе, словно бы всем отдал должное – его воображение, всегда неутомимое, оживляло все неживое вокруг и творило из него живых существ, с которыми он общался и разговаривал.

Кроме того, образцовый порядок, замеченный в здешних делах, доставлял ему удовольствие, и он охотно сознавал себя колесиком в этом механизме, столь правильно отлаженном: в родительском доме ничего подобного он не видел.

Шляпник Лобенштайн в самом деле чрезвычайно строго следил за соблюдением домашнего распорядка, где все: работа, трапезы и сон – было расписано по часам.

Отступления если и допускались, то лишь за счет сна, от которого не реже раза в неделю приходилось отказываться ради ночной работы.

В остальном же часы соблюдались неукоснительно: обед – ровно в полдень, завтрак – в восемь утра, ужин – в восемь вечера. По этим вехам делилась и вся дневная работа – так протекала жизнь Антона: приступая к трудам в шесть утра, он устремлял все свои помыслы к завтраку, живо его предвкушая, а когда получал его, то поглощал с величайшим аппетитом, какой бывает у здорового человека, хотя состоял этот завтрак всего лишь из кофейной гущи, приправленной молоком, и двухгрошовой булочки.

Затем работа возобновлялась с новой силой и, когда ее однообразие становилось утомительным, интерес утренних часов сосредоточивался на предвкушении обеда.

Ежевечерне подавалась чашка крепкого пивного супа – хорошая приманка, чтобы скрасить послеполуденную работу. А после ужина и до отхода ко сну над тягостью и скукой вечерних трудов утешительно витала уже другая мысль – о предстоящем вожаделенном отдыхе.

И хотя все, конечно, знали, что назавтра жизнь потечет по-прежнему, ее мучительное однообразие скрашивалось ожиданием воскресений.

Когда утешений, доставляемых завтраками, обедами и ужинами, становилось недостаточно, они начинали считать время до воскресенья – в этот день, не занятые никакой работой, они могли выйти из темной мастерской за ворота, гулять на свободе и любоваться видами живой природы.

О, какое наслаждение испытывает мастеровой по воскресеньям – наслаждение, недоступное людям высших классов, могущим отдыхать от дел, когда сами того пожелают.

«Чтобы... успокоился сын рабы твоей»³.

Один лишь мастеровой способен вполне почувствовать великий, прекрасный, исполненный человеколюбия смысл, заложенный в этом законе!

Если уж человек все шесть дней в неделю считает часы до одного-единственного дня отдыха, то, пожалуй, тем паче стоит в течение четырех месяцев высчитывать срок, оставшийся до трех-, а то и четырехдневных годовых праздников.

³ Исх. 23,4. – Прим. перев.

И если зачастую даже мысль о предстоящем воскресеньи не могла разогнать скуку унылой повседневности, тогда прелесть жизни освежалась приближением Пасхи, Троицы или Рождества.

А когда не хватало и этого, на помощь приходила сладостная надежда, что годы учения, обретения мастерства когда-нибудь закончатся и в их жизни настанет совсем новая великая эпоха.

Дальше, однако, помыслы товарищей Антона не простирались, но от этого он несколько хуже себя не чувствовал.

Всеблагой и мудрый ход вещей вносил в тяжелую и однообразную жизнь мастеровых разные вехи и меты, а тем самым – некий ритм и гармонию, благодаря чему жизнь их протекала незаметно, не вызывая особой скуки.

Однако романтическая душа Антона, увы, не могла согласоваться с этим ритмом.

Как раз напротив дома шляпника располагалась латинская школа, которую Антон тщетно мечтал посещать, – всякий раз, видя снующих туда-сюда школьников, он с тоской вспоминал такую же школу в Ганновере и ее конректора; когда же ему случалось проходить мимо большого здания школы святого Мартина и видеть выходящих из нее взрослых учеников, он отдал бы все, лишь бы хоть раз увидеть ее изнутри.

И хотя поступить в подобную школу в его тогдашнем положении он не смел и думать, все же вполне заглушить в себе слабый трепет надежды был не в силах.

Даже мальчишки-хористы казались ему существами высшего порядка, и, едва заслышав их пение на улице, он не мог удержаться, чтобы не побежать за ними, наслаждаясь их видом и завидуя их лучезарной судьбе.

Оставаясь в мастерской наедине со своим товарищем-подмастерьем, он старался передать ему те немногие знания, что приобрел либо самостоятельным чтением, либо через занятия с учителями.

Он рассказывал ему о Юпитере и Юноне, пытался растолковать разницу между прилагательным и существительным, чтобы тот научился правильному употреблению прописных и строчных букв.

Товарищ слушал его весьма прилежно, и нередко они пускались в рассуждения на темы религии и морали. При этом собеседник Антона проявлял необычайную находчивость в изобретении новых слов для обозначения своих мыслей. Так, следование божественной воле он называл *Божьим соблюдательством*. Поскольку же он все время норовил передразнивать религиозные изречения господина Лобенштайна об умерщвлении и т. п., то частенько нес совершенную околесицу.

С особой многозначительностью цитировал он известные выдержки из псалмов Давида, содержащие яростные обличения *врагов*, когда полагал, что экономка или кто другой из домашних чернит его или оговаривает.

Итак, почти все домочадцы в той или иной степени подпали под влияние религиозного фанатизма господина Лобенштайна – кроме этого подмастерья: всякий раз, когда Лобенштайн чересчур увлекался, рассуждая об «умерщвлении» и «изничтожении», он бросал на него столь убийственный и изничтожающий взгляд, что тот с гадливостью отворачивался или замолкал.

В остальных же случаях господин Лобенштайн мог целыми часами распекать весь человеческий род. Плавным движением правой руки он рассылал одним благословенье, другим – проклятье. При этом он силился придать своему лицу сострадательное выражение, но между его черных бровей читалась нетерпимость и ненависть к людям.

Практическое воздействие его речей, довольно ловко рассчитанное, всегда сводилось к одному – чтобы люди служили ему не за страх, а за совесть, коли не хотят быть навечно ввергнутыми в геенну огненную.

Сколько ни работай, угодить ему было невозможно; он же, уходя, всякий раз осенял крестом хлеб и масло.

Антону, который, надо полагать, тоже недостаточно много работал, он отравлял жизнь бесконечными рацеями и заводил их всякий раз за обедом, лишь только Антон, взявшись за нож и вилку, подносил кусок ко рту и порой разом терял от этого аппетит, – пока однажды упомянутый подмастерье бойко не заступился за него, дав ему доесть обед в покое.

Но и в других случаях Антон не отваживался подать голос, так как в любом его слове, выражении лица, в малейших его жестах Лобенштайн находил повод для придирок; Антон ничем не мог добиться его благосклонности и наконец стал побаиваться даже проходить мимо него, потому что Лобенштайн корил его за каждый сделанный шаг. Всякая мимолетная улыбка, всякое проявление невинной радости, мелькнувшей в лице или движениях Антона, вызывали у него раздражение, которому он тем свободней давал волю, что никто в доме не решался ему перечить.

Как раз в это время совсем поблекшие изображения пяти человеческих чувств на черной обшивке стены были покрыты свежим лаком – с тех пор память об этом запахе, который держался в комнатах несколько недель, прочно связывалась у Антона с представлением о его тогдашнем положении. Всякий раз, как до него доносился запах лака, в его душе произвольно всплывали неприятные картины того времени, и напротив, когда он впадал в состояние, имевшее случайное сходство с чувствами, испытанными им в доме Лобенштайна, ему чудился запах лака.

Случай несколько облегчил положение Антона.

Религиозные фантазии шляпника Лобенштайна весьма отдавали ипохондрией; он верил в грядущее возмездие и имел видения, нередко повергавшие его в страх и трепет. В его доме снимала комнату некая старуха. Умерев, она стала являться ему во сне, отчего он нередко просыпался в холодном поту, а поскольку продолжал грезить наяву, то по углам спальни ему все время чудилась ее мелькающая тень. Чтобы избавить его от одиночества, Антону велели спать с ним в одной комнате. Теперь в нем появилась нужда, и Лобенштайн стал относиться к нему немного добрее. Чаше вступал с ним в беседу, расспрашивал, лежит ли его сердце к Богу, учил, что Богу следует посвятить себя целиком и полностью, если же ему выпадет счастье быть избранным в число Божьих чад, то Бог возьмет на себя дело его духовного обращения и исполнит оное до конца – и многое в том же роде. Вечерами Антон, прежде чем отойти ко сну, должен был стоя тихо помолиться, причем молитва не могла быть слишком короткой, иначе Лобенштайн спрашивал: как, ты уже управился? и тебе больше нечего сказать Богу? Для Антона это служило новым поводом к лицемерию и притворству, столь чуждым его природе. Хотя молился он тихо, но старался выговаривать слова как можно отчетливее, чтобы Лобенштайн мог их хорошо слышать, поэтому в продолжение всей молитвы им владела мысль не столько о Боге, сколько о том, как бы выражением раскаяния, сердечного сокрушения, страстного порыва к Богу и тому подобных чувств повернее вкрасться в доверие к господину Лобенштайну. Такова была великая польза, принесенная вынужденной молитвой душе и характеру Антона.

И все же порой Антон еще обретал истинное наслаждение в уединенной молитве, которой предавался где-нибудь в отдаленном уголке мастерской, на коленях прося Бога, чтобы он произвел в его душе хотя бы одну-единственную из великих перемен, о которых он так много читал и слышал в детстве. И так велика была прельстительная сила его воображения, что иногда ему чудилось, будто в глубине его души действительно происходит нечто совсем особенное, и вслед за тем он сразу же задумывался, как бы описать это свое новое душевное состояние в письмах к отцу или к господину Фляйшбайну или как рассказать об этом Лобенштайну. Подобные воображаемые чувствования обильно питали его тщеславие, а затаенное наслаждение, которое он по этому поводу испытывал, вызывалось более всего мыслью о том, как он

станет рассказывать об испытанных им божественных и небесных душевных наслаждениях – ему чрезвычайно льстило, что люди взрослые и изрядно пожившие придают столь большое значение его душевному состоянию, предмету их постоянной заботы. Тут и заключалась причина воображаемой им непрерывной смены душевных состояний – через это он получал возможность сетовать господину Лобенштайну на внутреннюю пустоту и сухость, на то, что не ощущает в себе истинного влечения к Богу, а затем просить у него совета по поводу такого своего состояния, каковой совет бывал ему преподан с величайшей важностью, весьма для него лестной.

Дошло до того, что рассуждения о его душевном состоянии нашли место в переписке с господином Фляйшбайном и ему было показано некое место из письма Фляйшбайна, касающееся до него лично. Стоит ли удивляться, что он поддался соблазну посредством всех этих мнимых изменений своего душевного расположения пестовать собственную важность как в своих глазах, так и в глазах окружающих – коль скоро он представлял им как особа, отмеченная чрезвычайно пристальным руководством самого Бога?

Как и другой ученик, он получил теперь черный фартук, и это отнюдь не привело его в уныние, но напротив – принесло великое удовлетворение. Он почувствовал себя человеком, облеченным некой должностью и приступившим к ее исполнению. Фартук как бы вовлек его в общий порядок равных ему работников, тогда как прежде он был одинок и заброшен. В размышлениях о фартуке он даже забыл на время о своей любви к учению и стал находить своего рода удовольствие в исполнении разных ритуалов ремесленнической жизни, более всего мечтавая участвовать в них. Он от всей души радовался, принимая приветствие какого-нибудь странствующего подмастерья, ожидавшего положенного в таких случаях подарка, и не мог вообразить большего счастья, чем самому в один прекрасный день сделаться таким странствующим подмастерьем и приветствовать кого-нибудь по той же предписанной форме.

Так настроение юноши зависит более от знаков, нежели от самих вещей, и по словам ребенка вряд ли можно судить о его будущем выборе занятия. Едва выучившись читать, Антон стал находить неопишное удовольствие в посещении церкви, чему мать и тетка не могли нарадоваться. Но что же влекло его в церковь? Триумф, коим он наслаждался всякий раз, как, бросив взгляд на черную доску с выведенными на ней номерами псалмов, мог указать стоящему рядом взрослому, что это за номер, а потом быстрее иных взрослых раскрыть Псалтырь и присоединиться к хору.

Благосклонность господина Лобенштайна к Антону видимо росла по мере того, как мальчик все жарче выказывал потребность в духовном руководстве. Он часто разрешал ему участвовать в длившихся до полуночи беседах своих ближайших друзей, с которыми любил обсуждать приключившиеся ему или кому из них видения, порою столь жуткие, что у Антона от ужаса шевелились волосы на голове. Спать поэтому ложились поздно, и если вечер проходил в подобных беседах, наутро господин Лобенштайн обыкновенно спрашивал у Антона, не слышал ли тот ночью чего особенного, к примеру чьих-нибудь шагов в комнате.

Вечерами господин Лобенштайн иногда беседовал с Антоном наедине, и они вдвоем читали сочинения Таулера, Иоанна Креста и подобные книги. Казалось, теперь между ними установится прочная дружба. Антон и впрямь испытывал к господину Лобенштайну чувство, похожее на любовь, но к нему примешивалась некая горечь, привкус умерщвления и изничтожения, вызванных медоточиво-скорбной улыбкой Лобенштайна.

Теперь Антона все чаще освобождали от тяжелой и унижительной работы. Порой Лобенштайн брал его с собой на прогулку и даже пригласил для него учителя фортепиано. Антон был наверху блаженства в своем новом положении и написал письмо отцу, выразив в нем живейшую радость.

Антон достиг в доме Лобенштайна вершины счастья, и падение его приближалось. С той поры как для него был нанят учитель фортепиано, его окружали завистливые взгляды. Как при

дворе какого-нибудь князька, ему строили козни, на него клеветали и всячески старались его развенчать.

Пока Лобенштайн вел себя с ним жестоко и несправедливо, Антон пользовался сочувствием и дружбой всех домашних, но стоило им заподозрить, что Лобенштайн дарит его своей дружбой и доверием, как в той же мере увеличилась вражда и недоверие. Но едва только им удалось снова низвести его до себя и учитель музыки был уволен, как все недоброжелательство исчезло и он снова стал им другом.

Однако лишить его расположения столь мнительного и недоверчивого человека, как Лобенштайн, не составляло труда; достаточно было передать ему несколько беспечных фраз Антона, указывать при каждом удобном случае на различные промахи и непорядки, действительно им допущенные, чтобы переменить отношение Лобенштайна к нему. И именно так с обдуманым расчетом и сделали экономка и прочая челядь. Но прежде чем они полностью достигли своей цели, прошло несколько месяцев, в продолжение которых Лобенштайн пытался обратить в свою веру даже учителя музыки, скромного и порядочного человека, каковой, однако, по мнению Лобенштайна, все же был еще не вполне предан Богу и не проявлял достаточного пыла в следовании ему.

Учитель часто столовался в компании господина Лобенштайна, но в конце концов навлек на себя неудовольствие тем, что намазывал на хлеб слишком толстый слой масла. Экономка тотчас указала господину Лобенштайну на это обстоятельство с известной целью – удалить учителя от Антона и уравнивать последнего с его товарищами.

Вдобавок Антон не проявлял в музыке особых талантов, а потому и большого рвения на уроках. Несколько арий и хоралов – вот и все, что ему удалось выучить ценой больших усилий. Занятия фортепиано были для него тягостны, он с великим трудом усваивал аппликатуру, и Лобенштайн то и дело придирался к его растопыренным пальцам.

И все-таки однажды ему удалось, как в истории Давида и Саула, силою музыки развеять гнев господина Лобенштайна. Как-то раз он допустил небольшой промах, и, поскольку доброе расположение к нему господина Лобенштайна уже стало понемногу превращаться в ненависть, он замыслил для Антона на вечер суровое наказание. О чем Антон догадался по многим признакам. И когда час наказания приблизился, он собрался с духом и сыграл на фортепиано первый разученный им хорал, сопровождая свою игру пением. Лобенштайна это потрясло, и он признался, что именно на этот час и было назначено наказание, которое он теперь отменяет.

Антон даже дерзнул попенять ему, что прежняя его дружба и любовь начали заметно таять, в ответ тот признался, что расположение его к Антону вправду уже не столь велико, как прежде, но в том, что между ним и его бывшей любовью к Антону пролегла стена, виновато ухудшившееся состояние души Антона. Заключил же он об этом по указанию Бога, коему изложил означенное дело в молитве.

Все это чрезвычайно огорчило Антона, и он спросил, что же ему предпринять для исправления своего душевного состояния. Идти своим путем в простоте сердца, полностью предав себя Божьей воле, был ответ. Дальнейших указаний не последовало. Господин Лобенштайн считал недопустимым предварять решения Бога, который, казалось ему, уже и сам отвернулся от Антона. Однако, судя по его назидательным словам: «идти своим путем в простоте сердца», – он в последнее время находил Антона чересчур умным и словоохотливым, полагал, что мальчишка слишком много рассуждает и – по причине удовлетворенности своим внутренним состоянием – ведет себя слишком оживленно. Живое поведение Антона, по убеждению Лобенштайна, влекло его напрямик к гибели как человека с беззаботным выражением лица, а потому низменного и мирского, о котором нельзя подумать ничего иного, кроме как что сам Бог отвергнет его за его грехи.

Если бы Антон лучше понимал свою выгоду, он непременно исправил бы положение, напустив на себя удрученный и нелюдимый вид, изображая внутреннюю тревогу и подавлен-

ность. Ибо тогда господин Лобенштайн поверил бы, что Бог снова готов привлечь к себе эту заблудшую душу.

Но поскольку Лобенштайн был убежден, что всякий, кого Бог решит обратить, будет обращен и без его помощи и что Бог избирает кого хочет и кого хочет отторгает и ожесточает, чтобы тем нагляднее явить свою славу, то ему казалось опасным вмешиваться в дело Бога, коли, по всем приметам, кто-то окончательно им отвергнут.

У Антона же, судя по его оживленному и мирскому виду, такие приметы были налицо. Дело приняло столь нешуточный оборот, что Лобенштайн решил списаться с господином фон Фляйшбайном. И снова показал Антону место из письма Фляйшбайна, где речь шла о нем; господин Фляйшбайн выражал уверенность, что «дьявол возвел себе в сердце Антона столь прочное святилище, что разрушить его будет очень трудно».

Антон эти слова точно громом поразили, однако, заглянув в себя и сверив нынешнее свое душевное состояние с недавним, он не нашел между ними никакого различия: он столь же часто, как и прежде, бывал захвачен воображаемыми божественными чувствованиями и умильными переживаниями и, как ни старался, не сумел обнаружить никаких свидетельств своего отпадения от Божией милости и своей отверженности от Бога. С этого времени он стал сомневаться в истинности прорицаний господина Фляйшбайна.

Оттого он забыл и думать о своей униженности, которая еще недавно, скорее всего, побудила бы его добиваться благорасположения господина Лобенштайна, чью дружбу он отринул своей неизменно довольной физиономией.

Первым следствием этого стало удаление его из спальни Лобенштайна, так что ему снова пришлось ночевать рядом с другим учеником, который, перестав ему завидовать, опять сделался его другом. Вторым – что он снова принужден был исполнять самую низкую и грязную работу, подолгу задерживаясь в мастерской и не имея возможности навещать Лобенштайна. Учитель музыки оставался в доме лишь потому, что Лобенштайн положил себе завершить начатое дело его обращения и вознамерился взамен одной заблудшей души привести к Богу другую.

Наступила зима, и вот тут Антону пришлось совсем туго: его принуждали выполнять работу, для его лет совершенно непосильную. Лобенштайн как будто решил, что коль скоро душа Антона все равно ни на что не годна, пусть уж его тело найдет наилучшее применение. Казалось, он стал смотреть на него как на орудие труда, которое выбрасывают, когда оно стачивается.

Вскоре руки Антона от мороза и работы сделались совсем непригодными к фортепианной игре. Почти каждую неделю он вместе со своим товарищем раз-другой пропускал ночной сон и вынимал окрашенные в черный цвет шляпы из кипящего красильного котла, а затем немедленно прополаскивал их в протекающем неподалеку Окере, для чего прежде нужно было пробить отверстие во льду. И от постоянного чередования раскаленного пара и мороза руки Антона растрескались до крови.

Это, однако, не повергло его в уныние, скорее укрепило. Он прямо-таки гордился своими руками, а многочисленные кровавые трещины на них воспринимал как знаки трудового отличия; и покуда эта тяжелая работа обладала для него прелестью новизны, она доставляла ему известное удовольствие, состоявшее более всего в ощущении собственной телесной силы, и одновременно приносила сладостное ощущение свободы, прежде ему неведомое.

Теперь, казалось ему, он может иметь к себе более снисхождения, чем прежде, коль скоро работает наравне с другими и разделяет с ними дневные тяготы и попечения. Даже в самой тяжелой работе обретал он некое внутреннее достоинство, плод крайнего напряжения сил, и все чаще думал, что едва ли согласился бы променять нынешнее свое положение на то мучительное, в коем пребывал прежде, наслаждаясь суровой дружбой господина Лобенштайна, изничтожающей всякую свободу.

Тот же начал все больше и больше его притеснять, часто заставляя весь день напролет чесать шерсть в нетопленной комнате. Сие хитрое средство было измышлено, чтобы заставить Антона больше трудиться, ведь если он не хотел закончить до смерти, то должен был пошевеливаться, покуда хватало сил, так что вечерами руки уже отказывались ему повиноваться, а пальцы на руках и ногах все равно промерзали у него насквозь.

Эта работа своим нескончаемым однообразием делала жребий Антона горчайшим из всех, особенно когда фантазия его никак не хотела оживать. Если, напротив, она разыгрывалась от быстрого обращения крови, дневные часы пробегали незаметно. Тогда он уносился мечтами в будущее. Порой он давал выход своим чувствам, напевая речитативы на случайно сложенную мелодию. Когда же работа особенно его изнуряла, силы совсем оставляли и жизнь пригнетала к земле, он искал радость в религиозных мечтаниях о *жертве* и полном *самоотречении*; в такие минуты выражение *жертвенный алтарь* казалось ему исполненным глубокого смысла и он вплетал его во все придуманные им песенки и речитативы.

Общение с товарищем (которого звали Август) вновь стало доставлять ему живейшее удовольствие, а беседа с ним стала более доверительной, так как теперь они опять сделались равны друг другу. А ночи, проведенные без сна, лишь укрепляли их дружбу. Но особенно сплавляло их совместное пребывание в так называемой сушильне. Это была проделанная в земле яма, сверху покрытая кирпичным сводом; там мог разместиться либо один человек стоя, либо двое кое-как усаживались рядом. В этой яме находилась большая жаровня, а по стенам висели смазанные азотной кислотой заячьи шкурки, которые таким образом умягчались и затем шли на отделку дорогих шляп.

Вот здесь-то перед жаровней, в чадном воздухе земляной дыры, куда попасть удавалось чуть ли не ползком, Антон и Август сидели рядом. Их настолько сближала теснота и уединенность пространства, слабо освещаемого лишь раскаленными углями, тишина и зловещий вид темного свода, что сердца обоих изливались взаимными дружескими чувствами. Здесь они поверяли друг другу свои заветные чаяния, здесь провели блаженнейшие часы своей жизни.

Подобно господину Фляйшбайну и все его последователям, Лобенштайн был сепаратистом и потому сторонился церкви и не принимал причастия. Пока длилась дружба между ним и Антоном, тот почти не посещал церковной службы в Брауншвейге. Теперь же Август стал по воскресеньям брать его с собою в церковь, всякий раз в другую, поскольку Антон любил слушать разных проповедников.

Как-то раз Антон и Август, сидя глубокой ночью в тесноте сушильни, обсуждали нескольких уже слышанных ими проповедников, и Август пообещал Антону в следующее воскресенье повести его в Брюдернكيرхе, где он услышит проповедника, превосходящего своими речами все, что только можно себе помыслить и вообразить. Проповедник звался Паульман, и Август без умолку рассказывал, как часто этот человек трогал и потрясал его душу. Ничто не могло воодушевить Антона сильнее, чем вид публичного оратора, повелевающего сердцами тысяч. Он со вниманием слушал рассказ Августа и уже представлял себе пастора Паульмана на кафедре и в уме слышал его проповедь. Единственным его желанием было, чтобы воскресенье настало поскорее!

И наконец оно настало. Антон поднялся раньше обычного, переделал утренние дела и нарядился. Когда зазвонили к обедне, его охватило приятное предвкушение будущей проповеди. Народ потянулся к церкви. Улицы, ведущие к Брюдернكيرхе, были до отказа забиты людьми. Пастор Паульман недавно хворал и теперь готовился проповедовать в первый раз после болезни: по этой-то причине Август не сразу повел Антона в эту церковь.

Войдя, им едва удалось отыскать себе местечко поближе к кафедре. Все скамьи, проходы и хоры наполнились людьми, вытягивающими шеи, чтобы хоть что-нибудь разглядеть. Церковь была старинной готической постройки с мощными колоннами, высоким сводом и необычно-

венно длинными стрельчатыми окнами, столь густо раскрашенными, что сквозь них проникал лишь слабый свет.

Еще до начала службы люди наводнили церковь. Внутри царила торжественная тишина. Внезапно в полную силу зазвучал орган и грянувший тысячеголосый хор, казалось, сотряс свод. Когда замерли последние звуки песнопений, все взоры устремились на кафедру: желание прижоган видеть проповедника не уступало их желанию его услышать.

Наконец, он явился и, прежде чем взойти на кафедру, преклонил колено на ее нижней ступени. Затем он распрямился и предстал перед народом. Человек в расцвете сил – с бледным лицом, ртом, тронутым чуть заметной улыбкой, и глазами, источающими небесное благоговение, – он уже начал проповедовать, самым выражением своего лица и смиренно сложенными руками.

Но стоило ему заговорить – что за голос, что за выразительность речи! Сначала она текла медленно и важно, потом все быстрее, подобно ускоряющемуся потоку – и по мере того, как проповедник глубже погружался в свой предмет, огонь красноречия сильнее заблистал в его глазах, зашумел в груди и заискрился на кончиках пальцев. Все в нем – лицо, тело и руки – пришло в движение, нарушая главнейшие правила риторики, но оставаясь при этом естественным, изящным и неотразимо влекущим.

Мысли и чувства изливались совершенно свободно, очередное слово рвалось из груди, не дожидаясь, пока отзвучит прежнее; и, как волны, подгоняемые приливом, набегают одна на другую, так и каждое его новое чувство тонуло в следующем, которое, однако, было не чем иным, как живым обновлением предыдущего.

Он говорил высоким тенором, но и при такой высоте голос звучал на удивление полно, как звон чистого металла, пробегая по нервам людей. Придерживаясь канвы Евангелия, он обличал несправедливость, угнетение слабых, роскошь и расточительство, и под конец с разгоревшейся страстью обратился по имени к пышному, утопающему в неге городу, жители которого большей частью собрались в этой церкви, обнажил его грехи и преступления, напомнил о войне, об осаде города, об общей опасности – времени, когда нужда всех уравнила и царило всеобщее согласие, когда богатым гражданам за столами, стонущими теперь под тяжестью яств, предстали голод и дороговизна, а их перстни и ожерелья грозили смениться на оковы. Антону казалось, что он слышит одного из пророков, который с божественным пылом возвещает кару народу Израиля и срамит Иерусалим за его грехи.

На обратном пути Антон не молвил Августу ни слова, но отныне все его помыслы – куда бы он ни шел и где бы ни находился – были только о пасторе Паульмане. Его видел он ночами во сне, о нем заговаривал днем; весь его облик, выражение лица, каждое движение прочно запечатлелись в душе Антона. Чесал ли он шерсть в мастерской или промывал шляпы – всю неделю он был точно заморожен воспоминаниями о проповеди пастора Паульмана, снова и снова вызывая в памяти обороты его речи, которые потрясли его или растрогали до слез. Силой воображения он рисовал старинную величественную церковь, толпу, обратившуюся в слух, возобновлял звучание пасторского голоса – в его фантазии даже еще более возвышенного – и считал часы и минуты до следующего воскресенья.

Оно наступило. И если что-нибудь могло произвести на душу Антона еще более сильное впечатление, чем в прошлое воскресенье, то это была нынешняя проповедь. Людей в церкви собралось едва ли не больше, чем неделю назад. Перед проповедью пропели короткую песнь, составленную на слова псалмов:

«Господи! Кто может пребывать в жилище Твоем? кто может обитать на святой горе Твоей?

Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем;

кто не клеветает языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего;

тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит; кто клянется, и не изменяет;

кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек».

Эта короткая и разительная песнь как будто возбудила в слушателях ожидание дальнейшего. Сердца их открылись для великого и возвышенного, когда пастор Паульман с торжественно-серьезным выражением лица, как бы погруженный в себя, взошел на кафедру и, не сотворив молитвы и не сделав никакого вступления, простер руку и произнес:

«Тот из вас, кто не обижал вдов и сирот, кто не знает за собой тайных прегрешений, кто не вводил в обман ближнего своего ростовщицеством, чью душу не тяготит лжесвидетельство, тот вместе со мною доверчиво возднемь руки к Богу и помолись: Отче наш и т. д.»

Далее он обратился к тому месту из воскресного Евангелия, где у Иоанна Крестителя спросили, не Христос ли он. «Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос». Этими словами он воспользовался, чтобы обличить лжесвидетельство; прочтя их своим глуховатым размеренным голосом, он выдержал паузу и начал снова:

*О горе тем, кто на земле
Отринул волю Божью,
Кто с мрачной думой на челе
Чернит святыню ложью.
Бессовестно ты Богу лгал,
Его насмешкой оскорблял,
О, как же пал ты низко!
Теперь пред ликом Чистоты
Несчастней твари нет, чем ты,
Но верь – спасенье близко.
Ты падать духом не спеши,
Греху не погубить души.
Ведь слезы потекут ручьями,
Когда раскаянье придет
И стихнет постепенно пламя
Вины, что нас так больно жжжет.
О ты, что миру зло принес,
Плачь, если только хватит слез,
Но лишь в надежде света.
Тому, кто грех свой перевозмог,
Свой образ снова явит Бог —
Вот суть его завета.⁴*

Эти слова, произнесенные с долгими паузами и с величайшим пафосом, произвели невероятное действие. Когда они замерли, люди перевели дух, со лба их катился пот. Природа лжесвидетельства была исследована, и его последствия представлены в самом ужасающем свете. На голову лжесвидетеля пала молния, и погибель уже приближалась к нему, как вооруженный латник; в глубине его души трепетал грешник и взывал: «Горы, падите на меня, холмы, покройте меня!» Лжесвидетель лишился милости, гнев Предвечного навсегда уничтожил его.

⁴ Здесь и далее, если не указано иное, стихи даны в переводе Екатерины Савельевой. – Примеч. ред.

Проповедник в изнеможении умолк, слушателей охватил панический ужас. Антон лихорадочно перебирал в уме все годы своей жизни, доискиваясь, не совершил ли он в прошлом какого лжесвидетельства.

Но уже звучали слова утешения – отчаявшемуся даровались милость и прощение, при условии, что он вдесятеро возместит отнятое у вдов и сирот, что будет всю оставшуюся жизнь омыwać свои грехи слезами раскаяния и искупать их усердным трудом.

Милость подавалась нечестивцу не даром: он должен был добиться ее молитвой и плачем. Теперь же выходило так, будто проповедник сам, на глазах у толпы, вырывал ее у Бога своей молитвой и своими слезами, словно бы поставив себя на место сокрушенного душой грешника.

Отчаявшийся слышал обращенный к нему голос: ползай во прахе и пепле, пока не сотрешь колени, вопи: я согрешил пред небом и пред Тобой – так начинался каждый период проповеди: я согрешил пред небом и пред Тобой! – после чего чередой шли признания: я обижал вдов и сирот, отнимал у слабого последнюю опору, у голодного – хлеб и так далее по всему реестру грехов. Каждый период завершался возгласом: Господи, возможно ли мне снискать Твою милость?!

Горькие слезы лились потоком. Рефрен в конце каждого периода производил необыкновенное действие – все чувства словно бы возбуждались новыми и новыми электрическими разрядами, раскалявшими их до предела. И даже хрипота, под конец постигшая оратора, свидетельство его крайнего изнеможения (ибо он так и вопиял к Богу о снисхождении ко грехам народа), лишь усилила жалобные чувства, вызванные этой проповедью; во всей толпе не было ребенка, который бы не вздыхал и не плакал, увлеченный общим порывом.

Два с половиною часа пролетели как одна минута – неожиданно проповедник умолк и, сделав паузу, завершил проповедь теми же стихами, какими ее начал. Усталым севшим голосом он отчитал общую исповедь, принес покаяние в грехах и, наконец, произнес разрешительную молитву. Затем он помолился за тех, кто, как и он сам, готовился подойти к причастию, и, воздев руки, благословил прихожан. Само понижение его голоса после громкой проповеди имело в себе нечто торжественное и трогательное.

На сей раз Антон задержался в церкви: он хотел увидеть, как пастор Паульман будет причащаться. Каждое движение этого человека казалось исполненным святости. С бьющимся сердцем он приблизился к тому месту, где шел пастор Паульман. Чего бы он не отдал в эту минуту, чтобы его тоже допустили к причастию! Потом он смотрел, как пастор Паульман идет домой вместе с сыном, мальчиком лет девяти. Всем самым дорогим на свете Антон готов был пожертвовать, лишь бы оказаться на месте этого мальчика. Он глядел, как пастор Паульман пересекает улицу, со всех сторон теснимый прихожанами, выкрикивающими слова приветствия и благодарности, и ему казалось, будто от его головы исходит сияние и среди толпы смертных пробирается как бы некий сверхчеловек. Более всего он желал, приподняв шляпу, поймать хотя бы его мимолетный взгляд, и когда это ему удалось, он тут же поспешил домой, пытаясь сохранить этот взгляд в своем сердце.

В следующее воскресенье пастор Паульман проповедовал о любви к ближнему, и сколь потрясающей была прежняя его проповедь о лжесвидетельстве, столь трогательной оказалась эта; слова стекали с его губ, как мед, каждое движение не походило на предыдущее; само его существо словно изменилось под воздействием темы проповеди. И при этом – ни малейшей аффектации. В самом его естестве была заложена способность полностью сливаться с мыслями и чувствами, вызываемыми предметом речи.

В то же утро Антон выслушал еще одну, необыкновенно скучную проповедь другого проповедника этой церкви – и несколько раз впадал в настоящую ярость: когда дело, по всему судя, уже шло к заключительному «аминь», проповедник вдруг возвращался и прежним тоном начинал все сызнова. Теперь скучные проповеди причиняли Антону еще большие муки, чем когда-

либо, поскольку он не мог удержаться от постоянных сравнений: проповедь пастора Паульмана стала для него высшим идеалом, недостижимым, как он думал, ни для кого другого.

По окончании утренней проповеди к пастору Паульману выстроилась целая очередь причастников, ожидавших его благословения, чему Антон еще никогда не бывал свидетелем. И сколь достойный образ явил при этом пастор Паульман! Он стоял в глубине церкви подле высокого алтаря и пел: «Хвалите Господа, ибо Он человеколюбец и милость Его не прейдет!» – таким неземным голосом и властным тоном, что Антон в ту минуту почувствовал себя как бы восхищенным в небесные сферы, – все это чудилось ему происходящим за некой завесой, в святая святых, куда заповедано даже приближаться ноге человека. Как завидовал он тем, кому дозволено подойти к алтарю и принять причастие из рук пастора Паульмана! Одна молодая женщина в черном платье, с бледными щеками, подступила к алтарю с выражением небесного благоговения и своим видом произвела на Антона небывалое впечатление. Впоследствии он никогда ее не видел, но образ ее на всю жизнь запечатлелся в его сердце.

Теперь его фантазия обрела новую игру. С мыслью о причастии он засыпал и с нею же просыпался. Весь день он носился с ней, работая в одиночестве; его воображению представлял пастор Паульман с его мягким, волнообразно нарастающим голосом, глазами, обращенными горь и как бы озаренными неземным благоговением. Временами в его фантазии возникал образ молодой женщины, одетой в черное, бледной, с молитвенным выражением лица.

Все это настолько распалило его воображение, что он почел бы себя счастливейшим человеком на земле, если бы в следующее воскресенье его допустили к причастию. Он надеялся, вкусив причастие, получить столь возвышенное, неземное утешение, что слезы радости уже заранее текли по его щекам. Одновременно он испытывал род мягкого и успокоительного сострадания к самому себе, которое – стоило ему подумать о том, что его, подмастерья шляпника, никто подобного утешения лишить не может, – подслащало горечь и бедственность его положения. Он решил, когда ему позволят, причащаться каждые две недели, не реже, и к этому желанию примешивалась надежда, что при столь регулярном причащении пастор Паульман в конце концов обратит на него внимание, и эта мысль больше всех прочих придавала неизъяснимую сладость витающим перед ним образам. Итак, тщеславие таилось даже и здесь, в самой глубине его переживаний, где было очень нелегко его предположить.

Он и представить себе не мог, что навсегда останется таким же заброшенным и всеми забытым, как теперь. Согласно известным почерпнутым из романов идеям, которые он вбил себе в голову, непременно должно было случиться, что некий благородный господин, случайно увидев его на улице, найдет в нем нечто необычайное и возьмет на себя заботу о нем. Унылое, меланхолическое выражение, которое он придал своему лицу, лучше всего, по его расчету, привлечет к себе внимание. И потому он нередко напускал на себя куда более мрачный вид, чем свойственно его натуре. Мало того, нередко, встречая благородного господина, физиономия которого внушала ему доверие, он был готов заговорить с ним и поведать ему обстоятельства своей жизни. Но всякий раз его удерживала от этого одна и та же устрашающая мысль – что, если этот благородный господин сочтет его глупцом?

Порой, шагая по улице, он жалобным голосом запевал какую-нибудь из выученных наизусть песен мадам Гийон, находя в ней намеки на собственную свою судьбу, – ему думалось, что, поскольку в романах пение подобных жалобных песен иногда творит чудеса, то, быть может, он сумеет таким же образом привлечь к себе внимание какого-нибудь благотворителя и тем изменить свою судьбу.

Благоговение его перед пастором Паульманом было слишком велико, чтобы он отважился первым заговорить с ним. Стоило Антону к нему приблизиться, как его охватывала дрожь, словно он стоит рядом с ангелом. Он не мог и подумать – или всячески старался отогнать мысль, что пастор Паульман, как все люди, по утрам встает, вечером ложится в постель и, подобно остальным, управляет множество естественных надобностей. Представить его в

шлафроке и ночном колпаке было выше его сил – точнее, он сам избегал подобных мыслей, словно они могли пробить брешь в его душе. Особенно невыносим для него был образ пастора Паульмана в ночном колпаке – он будто вносил дисгармонию во все остальные его представления о мире.

Как-то раз, однако, случилось, что, стоя в церковном притворе, Антон услышал, как проходящий мимо пастор Паульман разговаривал со служкой о предстоящем крещении ребенка на нижненемецком диалекте.

Вряд ли существовал на свете контраст, могущий сильнее подействовать на душу Антона, – человек, которого он видел не иначе как перед толпою народа, с возвышенной, берущей за душу речью на устах, теперь, как простой ремесленник, разговаривает со служкой на нижненемецком о столь высоком деле, как крещение, да еще тоном, отнюдь не возвышенным, каким напоминают человеку, чтобы тот не забыл принести таз.

Этот случай несколько поубавил идолопоклонства в душе Антона, он стал чуть меньше превозносить пастора Паульмана – зато тем больше его полюбил.

Вместе с тем его представление о блаженстве полностью отделилось от пастора Паульмана. Он не ведал ничего более возвышенного и чарующего, нежели, подобно пастору Паульману, держать речь перед народом и временами обращаться по имени к целому городу. Последнее виделось ему исполненным особого величия и пафоса – настолько, что порой он проводил целые дни, непрестанно повторяя в мыслях подобные речи, так что однажды, выйдя на улицу купить пива и увидев дерущихся мальчишек, не преминул повторить в уме слова пастора Паульмана, предостерегая жестокосердный город от близкой гибели, – и при этом грозно воздел руку к небу. Куда бы ни шел и где бы ни находился, он произносил про себя пространственные речи, а когда возбуждение доходило до крайних пределов, он обычно держал проповедь против лжесвидетельства.

Так он недолгое время витал в приятных фантазиях, которые почти вовсе заставляли его забывать и чесание шерсти в холодной комнате, и мытье шляп в ледяной проруби, и вечное недосыпание, когда ему приходилось бодрствовать по нескольку ночей подряд. Порой часы пролетали, как минуты, если ему удавалось силой фантазии зримо представить себя в роли публичного оратора.

Однако – сказалось ли тут чрезмерное напряжение душевных сил или крайняя усталость тела – он опасно заболел. Хорошего ухода он был лишен. В горячечном бреде он целые дни проводил в постели, и никто о нем не заботился.

В конце концов добрая природа взяла свое: он выздоровел. Правда, болезнь оставила в нем по себе некую слабость и удрочение, и добродетельный господин Лобенштайн своими мягкими увещеваниями едва не вызвал ее смертельный рецидив.

Как-то раз вечером в сумерках Лобенштайн принимал теплую травяную ванну, уединившись в своих темнеющих покоях вместе с Антоном, который должен был ему помогать. Поскольку же он сильно потел в своей ванне и вдобавок вдруг стал охвачен сильнейшим страхом, то и обратился к Антону голосом, от которого у того мороз пошел по коже: «Антон! Антон! Берегись ада!» – и неподвижно устался в дальний угол.

При этих словах у Антона начался озноб, дрожь прокатилась по всему телу. Его обуял невыразимый страх смерти – ведь он нимало не сомневался, что господину Лобенштайну в ту минуту предстало видение его, Антоновой гибели, оттого-то он и издал столь ужасающий вопль: Берегись, ах, берегись ада!

Прокричавши это, Лобенштайн неожиданно выскочил из ванны, и Антону пришлось проводить его до комнаты, освещая путь. Он шел впереди на подгибающихся ногах и, когда выходил из комнаты Лобенштайна, тот показался ему бледнее смерти.

Если кто на свете когда-либо обращался к Богу с подлинно беззаветной и жаркой молитвой, это был Антон: оставшись один в своем закуте, примыкающем к мастерской, он упал даже

не на колени, а простерся ничком, и, как приговоренный преступник, просил Бога, умолял оставить ему жизнь – хотя бы на срок, необходимый для раскаяния, коли уж ему суждено умереть, ибо ему вспомнилось, как он больше двух десятков раз бегал и прыгал по улице и беззаботно смеялся – и теперь его ожидали муки ада, коим он будет предан навечно. Берегись, ах, берегись ада! – пронзительно звучало в его ушах, словно неведомый дух выкрикивал эти слова из могилы, и он целый час кряду молился не переставая, – и продолжал бы молиться всю ночь, когда бы страх не стал понемногу утихать, меж тем как грудь его исторгала тревожные вздохи, под конец сменившиеся потоком слез; ему стало казаться, что Бог услышал его мольбы, ибо Он всегда, как то случилось в Ниневи, предпочтет осрамить пророка, нежели погубить хоть одну живую душу. Антон унял свою лихорадку молитвой, но снова впал бы в нее, не отыщи он своим возбужденным умом эту спасительную мысль. Так нередко одно мечтание, одно безумие излечивает человека от другого – дьявол изгоняется Вельзевулом.

Изнурительное бдение сменилось спокойным сном, и наутро Антон проснулся отдохнувшим и здоровым, но вместе с ним проснулась и мысль о смерти; он полагал, что имеет впереди лишь кратчайший срок для раскаяния и теперь следует торопиться, если он все еще надеется спасти свою душу.

И он прилагал к этому все свои силы: молился ежедневно несчетное число раз, опустившись на колени в каком-нибудь укромном уголке, и, наконец, мечтаньями своими довел себя до твердой уверенности, что снискал Божью благодать, и оттого сделался столь весел душою, что уже видел себя на небесах и скорей согласился бы умереть, чем сойти с благого пути.

Не могло, однако, обойтись, чтобы натура временами не брала свое – сколь бы необузданным фантазиям он ни предавался, – и тогда естественная любовь к жизни как таковой снова пробуждалась в душе Антона. Правда, в такие минуты мысль о предстоящей смерти была ему куда как томительна и горька: он полагал, что снова отпадает от божественной благодати, и трепетал оттого, что так и не сумел заглушить в себе голос естества.

Так он пожинал сугубые плоды суеверий, что ему внушили в раннем детстве, – страдания его были не что иное, как болезнь воображения, но оттого не теряли своей действительности и лишали его радостей юного возраста.

От своей матери он узнал, что если при мытье рук от них не исходит пар, то это верный признак скорой смерти, и теперь всякий раз, подставляя руки под воду, он чувствовал, что умирает. Еще слышал он, что если собака завоет, опустив морду книзу, значит она чует смерть кого-то из домашних, – и с тех пор в каждом собачьем подвыванье он угадывал собственную близкую смерть. Даже если курица вдруг закукарекает по-петушиному, то и это считалось у него неложным знаком чьей-то скорой кончины, а по двору как раз бродит зловеющая пророчица и все время кричит не своим голосом. Погребальный звон не казался Антону столь ужасным, как ее кукареканье, и курица эта доставила Антону больше мрачных часов, чем все остальные превратности его жизни.

Когда курица, бывало, молчала несколько дней кряду, отрада и надежда вновь возвращали его к жизни, но стоило ей подать голос, как все его надежды и упования внезапно снова рушились.

В то самое время, когда он неотлучно носился с мыслями о смерти, случилось ему в первый раз после болезни зайти в церковь к пастору Паульману. Тот стоял на кафедре и проповедовал – о смерти.

Антон словно громом поразило, ибо, приученный мыслью об особой заботе о нем божественного провидения все воспринимать на свой счет, – к кому же еще, думал он, как не к нему, могла быть обращена проповедь о смерти. Преступник, выслушивающий свой смертный приговор, не больше трепещет в своем сердце, чем трепетал Антон, внимая этой проповеди. И хотя пастор Паульман привел утешительные доводы в защиту от ужаса смерти, что были

все эти доводы в сравнении с естественной любовью к жизни, которая, вопреки всем химерам, заполонившим голову Антона, все же в нем торжествовала?

Удрученный, с опечаленным сердцем пришел он домой и две недели провел в меланхолии, навеянной этой проповедью, которую пастор Паульман – знай он, что она произведет хотя бы на двух-трех человек такое действие, – вероятно, вовсе не стал бы читать.

Так, благодаря особой заботе Провидения, избирательно оказанной ему божественной благодатью, Антон на тринадцатом году жизни сделался законченным ипохондриком, о котором можно было не обинуясь сказать, что он ежеминутно умирал при жизни. Ему, столь постыдно лишенному наслаждений юности, теперь морочили голову рассказами о всеупреждающей божественной благодати.

Между тем вновь наступила весна, и природа, всеобщая врачевательница, понемногу стала исправлять вред, нанесенный благодатью.

Антон почувствовал прилив жизненных сил; он умывался – и от рук его снова поднимался пар, собаки перестали выть, курица – кукарекать, и пастор Паульман более не произносил проповедей о смерти.

Он возобновил свои одинокие воскресные прогулки и однажды совершенно случайно очутился перед теми самыми воротами, которыми около полутора лет назад они с отцом вошли сюда дорогой из Ганновера. Он не мог противиться желанию выглянуть за ворота и побродить по обсаженному ивами широкому тракту, когда-то им пройденному. Странные ощущения родились в тот миг в его душе. Вся его жизнь, начиная с того мгновения, когда он увидел часовых, расхаживающих по валу, и стал рисовать себе различные картины: как бы этот город мог выглядеть внутри и на что похож дом Лобенштайна, – все разом предстало в его памяти. Ему чудилось, он пробудился от какого-то сна и вот – снова вернулся туда, где этот сон начался: пестрые сцены из жизни, прожитой им в Брауншвейге за полтора года, теснились перед ним, и отдельные картины стали уменьшаться – соразмерно вдруг обретенному его душой более крупному масштабу восприятия.

Вот так могущественно действует в нас представление о месте, с коим мы скрепляем прочие наши представления. Те или иные улицы и дома, которые Антон видел ежедневно, составляли краеугольный камень остальных его представлений, – на эту основу наслаивалось все проходящее в его жизни, через нее сама жизнь обретала внутреннюю согласованность и действительное существование: через это он и мог отличать явь от сна.

В детском возрасте особенно важно, чтобы все прочие идеи были привязаны к идеям места, ибо сами они не обладают еще достаточной плотностью и потому не могут держаться сами собой.

Поэтому-то в детстве так трудно отличить сон от яви, и помнится, один из наших величайших философов, доньяне живущий, рассказал мне о замечательном наблюдении подобного рода, относящемся к годам его собственного детства.

Мальчиком он часто бывал наказан розгами за обычную ночную провинность, весьма распространенную среди детей. Нередко ему очень явственно представлялось во сне, что он становится к стене и... Когда же днем он действительно подходил с этой целью к стене, то сразу вспоминал о суровом наказании, которому столь часто подвергался, – и часто подолгу выстаивал, не решаясь отдать настоящий долг природе, пока, наконец, сообразив все обстоятельства и приняв во внимание дневное время, окончательно убеждался, что не спит.

Пробуждаясь по утрам, мы нередко наполовину еще пребываем во сне, и переход к бодрствованию совершается лишь постепенно: сперва мы начинаем ориентироваться в пространстве, потом улавливаем свет, льющийся из окна, и только тогда все мало-помалу становится на свои места.

Вполне естественно поэтому, что Антон, пожив уже несколько недель в Брауншвейге у Лобенштайна, по утрам все еще полагал, что спит, когда на самом деле уже проснулся: причина

в том, что стержень, на который раньше при утреннем пробуждении нанизывались идеи вчерашнего дня да и всей его прошлой жизни и благодаря которому они обретали взаимную связь и действительное существование, теперь как бы переместился, поскольку идея места стала другой.

Так стоит ли удивляться, что перемена места столь значительно способствует тому, чтобы все, о чем на самом деле нам не хочется думать, мы воспринимали как сон и забывали?

В более позднем возрасте, особенно если человек много путешествует, связь идей с определенным местом несколько утрачивает силу. Куда бы ни попадал, он видит крыши, окна, двери, булыжные мостовые, церкви и башни – либо луга, поля, пашни и пустоши. Резкие различия скрадываются: земля повсюду одинакова.

Когда Антон впервые стал ходить по улицам Брауншвейга, то особенно по вечерам в густеющих сумерках ему иногда казалось, что все происходит во сне. Такое случалось с ним и тогда, когда улица имела отдаленное сходство с какой-нибудь из улиц Ганновера. Тогда ему порой на несколько минут чудилось, будто он снова в Ганновере: разные сцены его жизни смешивались друг с другом.

Особое наслаждение во время этих прогулок доставляли ему поиски в городе ранее неведомых ему мест. В такие минуты душа его расширялась и он как бы вырывался из узкого круга своего существования – повседневные идеи куда-то исчезали, и перед ним открывались грандиозные и влекущие виды и лабиринты будущего.

И все же ему никак не удавалось единым и всеобъемлющим взглядом охватить свою жизнь в Брауншвейге, со всеми ее многообразными изменениями. Место, где он находился, всякий раз слишком напоминало ему о каком-то одном отрезке жизни, мысль о целом еще не помещалась в его сознании; все его представления ограничивались узким кругом собственного существования.

Чтобы составить наглядную картину его здешней жизни, требовалось оборвать нити, которые привязывали его внимание к сиюминутному, повседневному и разрозненному – и вновь вернуться к той точке, откуда он созерцал свою жизнь в Брауншвейге еще прежде ее начала, когда она только брезжила перед ним в виде неясного будущего.

Именно в этой точке он и оказался, когда случайно вышел за ворота, через которые около полутора лет назад вошел в город широким трактом, обсаженным ивами, и заметил часовых, ходящих по высокому валу.

Именно это место, внезапно внушив ему воспоминание о тысяче разных мелких подробностей, снова привело его в то состояние, в каком он находился непосредственно перед началом новой жизни, предстоявшей ему в этом городе. Все происшедшее с ним за это время стеснилось в его воображении подобно толпе сквозящих теней, подобно сну. Ибо он нынешний, стоящий на мосту и глядящий ввысь на гребень вала, где виднелись часовые, точь-в-точь совпал с собою, стоявшим здесь же полтора года назад и так же глядевшим ввысь на вал. Прошлое, все сцены жизни, прожитой в Брауншвейге, предстали Антону теперь заново, но так, как он полутора годами раньше еще только воображал их себе происходящими в будущем; и до чрезмерности живое представление и память об этом месте несколько ослабили яркость воспоминаний о времени, протекшем с тех пор, – иначе, по крайней мере, трудно объяснить испытанное Антоном необычайное ощущение, подобное которому – хотя бы один раз – всякий человек может обнаружить в своей памяти.

Десять раз и более Антон замыслил покинуть город и прежней дорогой вернуться в Ганновер, но его удерживала мысль о холоде и голоде, которые его подстерегали.

Но с того дня в нем окончательно окрепло решение уйти от Лобенштайна, чего бы это ему ни стоило. Окружающее сделалось ему совсем безразлично, так как он думал, что всему этому скоро придет конец. Да и самому Лобенштайну он так опостылел, что тот, наконец, написал отцу Антона и предложил забрать сына, из которого ничего путного все равно не выходит.

Ничто не могло обрадовать Антона больше, чем известие, что отец вскорости заберет его домой. В Ганновере, рассуждал он, ему все равно предстоит набираться школьной премудрости, прежде чем его допустят к причастию, а уж там он постарается так отличиться, чтобы на него обратили внимание. И как некогда он всей душой стремился в Брауншвейг, так теперь мечтал возвратиться в Ганновер и тешил себя приятными мечтами о будущем.

Несмотря на выпавшие ему тяжкие испытания, многое в Брауншвейге все же сделалось ему дорого – настолько, что к приятным надеждам часто примешивалась грусть расставания, погружавшая его в состояние кроткой меланхолии. Часто он стоял в одиночестве на берегу Окера и – сколько доставал глаз – провожал взглядом проплывающую мимо лодочку, и тогда ему вдруг казалось, что он заглядывает в собственное туманное будущее, но стоило попытаться укрепить в себе приятную иллюзию, как она немедленно исчезала.

Тогда он устроил себе торжественное прощание с теми местами города, которые посещал во время воскресных прогулок и теперь с грустью покидал, не надеясь их больше увидеть.

Он также выслушал несколько проповедей пастора Паульмана, и некоторые места из них навсегда запечатлелись в его памяти.

Неизгладимое впечатление произвел на него возрастающий аффект, с каким пастор Паульман говорил о страстях Иисуса: с состраданием смотрит Он на своих палачей и молится, молится, молится – Отче, отпусти им, ибо не ведают, что творят!

И еще запомнилось Антону – в речи пастора Паульмана об исповеди, посвященной евангельскому рассказу о прокаженном, коему велено было показать себя священнику, обращение к лицемерам, добросовестно соблюдающим всю внешность религии, но имеющим в груди злое сердце; каждый период этой проповеди начинался так: вы приходите в исповедальню, вы показываетесь священнику, но он не может заглянуть в ваше сердце – и т. д. Чуть позже в той же проповеди повторялось выражение, которое чрезвычайно растрогало Антона: «вы пребудете на небеси». Последнее слово, которое проскальзывало как-то слишком быстро, самим своим звуком вызывало в нем слезы каждый раз, когда он о нем вспоминал.

Столь же чарующе звучало для него и другое выражение, очень часто встречавшееся в проповедях пастора Паульмана, – *вершины разума*, и тому были особые причины, которые в дальнейшем не остались без последствий. Церковный клирос, где стоял орган и пел хор мальчиков, казался ему чем-то недостижимым; часто он с тоской засматривался на него и не мечтал об ином счастье, как когда-нибудь подробно разглядеть чудесное устройство органа и то, что находилось рядом с ним, – ведь он мог видеть все это лишь издали. Эта фантазия соединялась у него с другой, привезенной еще из Ганновера, – уже там его приводила в восхищение некая башня, и он завидовал музыкантам городского оркестра, стоявшим на ее галерее и трубившим с высоты по утрам и вечерам.

Он мог часами разглядывать эту галерею, казавшуюся снизу очень маленькой, ниже колена, хотя головы музыкантов, дувших в свои инструменты, едва виднелись из-за ее парапета, и не отводить глаз от циферблата, о котором люди, побывавшие наверху, уверяли, что он величиной с колесо телеги, хотя снизу выглядел не больше тачечного колеса. Все это до крайности возбуждало его любопытство, и он по целым дням не мог ни о чем другом думать и ничего желать, кроме как рассмотреть поближе галерею и циферблат.

Через звуковые отверстия над галереей можно было видеть и колокола, и Антон чуть ли не пожирал глазами это небывалое представление: огромная металлическая машина, производившая оглушительный звон, попеременно вздымалась и опускалась под действием железных балок, на которые ступали ногами люди, казавшиеся на большой высоте совсем крошечными.

Антону чудилось, будто он заглянул в глубочайшее чрево башни и ему открылся сокровенный источник чудесного звука, которому он прежде с волнением внимал лишь издали. Однако это нисколько не утолило, но напротив, еще больше разожгло его любопытство: он видел лишь один гигантский бок вздымавшегося колокола, но не весь колокол целиком. О

величине этого колокола он слышал еще в детстве, и воображение увеличивало его несчетно, рождая в душе самые романтические и невероятные фантазии.

В те времена, когда он страдал от боли в ноге, томился под родительским гнетом, – в чем находил он утешение? Что было сладчайшей мечтой его детства, заветнейшим желанием, заставлявшим его забыть обо всем на свете? Не что иное, как поближе рассмотреть циферблат и галерею на башне в новой части Ганновера, а заодно и колокол, который там висел.

Более года игра фантазии скрашивала печальнейшие часы его жизни, но ему пришлось оставить Ганновер, увы, так и не осуществив своей заветной мечты. Однако образ башни никак не шел у него из головы, последовал за ним в Брауншвейг и часто являлся ему во сне – высокие лестницы, лабиринты извилистых переходов: он поднимается на башню, стоит на галерее, с невыразимым наслаждением прикасается к башенному циферблату и внутренним зрением вблизи осматривает большой колокол, бесчисленные маленькие колокола и другие чудесные вещи, пока не ударяется головой о неохватный край большого колокола и не просыпается.

Вот почему стоило пастору Паульману заговорить о *вершинах разума*, как Антон с замиранием сердца вспоминал о вершине облюбованной им башни, о ее колоколе и циферблате, о высоких хорах, где помещался орган в Брюдернكيرхе, и тогда в нем снова оживала тоска и при словах *вершины разума* из глаз текли слезы печали.

Умозрительную часть проповедей, произносимую пастором Паульманом с невероятной быстротой, Антон не улавливал, потому что не мог поспеть за ним своей мыслью. Но в ожидании увещательной части он и эту слушал с большим наслаждением – ему казалось, будто сперва собираются тучи, чтобы чуть позже их рассеяла благодатная гроза или растворил теплый дождь.

Но однажды он пришел в церковь с намерением послушать проповедь пастора Паульмана и по возвращении домой записать ее. Внезапно туман в душе его прояснился – внимание сосредоточилось на другом: раньше он слушал сердцем, теперь же впервые стал воспринимать разумом и жаждал не только потрясения от того или иного места, но хотел уловить весь смысл проповеди целиком, и умозрительная ее часть увлекла его не меньше, чем увещательная. Проповедь посвящалась любви к ближнему: сколь счастливы были бы люди, если бы каждый радел о благе остальных, а все – о благе каждого в отдельности. Эта проповедь, со всеми ее пунктами и подпунктами, прочно запечатлелась в его памяти, он слушал ее с намерением записать, что и сделал, вернувшись домой, после чего прочел ее вслух Августу, чем привел его в изумление.

Можно сказать, что запись этой проповеди подстегнула развитие разумных способностей Антона, ибо с того времени его мысли стали постепенно приходить в общий порядок – он научился самостоятельно размышлять о различных предметах и пытался выразить свои мысли, а поскольку вокруг не было никого, кому бы он мог их передать, он стал составлять письменные сочинения, пусть порой и довольно странные. Ведь если раньше он разговаривал с Богом устно, то теперь вступил с ним в переписку – сочинял длинные молитвы, в которых описывал свое душевное состояние.

Тяга к писательству развивалась в нем тем сильнее, что он был полностью лишен чтения, так как Лобенштайн уже давно не давал ему ни одной книги, исключая подаренного Антону Энгельбрехтова «Описания Рая и Ада для Общества ткачей-полотнянщиков в Винзене-на-Аллере».

Большого пройдохи, чем этот Энгельбрехт, нельзя было сыскать во всем свете. Говорили про него, что он умер, затем заново ожил и убедил свою старую бабу, что побывал на небесах и в аду, женщина разнесла это по округе – так и появилась эта необыкновенная книга.

У этого плута хватило наглости утверждать, будто он парил по небу подле Христа и ангелов, держал в одной руке Солнце, в другой Луну и пересчитал все звезды на небе.

Однако уподобления его были порой весьма наивны: к примеру, он сравнивал небо с изысканным винным супом, коего людям на земле довелось отведать всего лишь несколько капель, но когда-нибудь его можно будет есть ложками, небесная же музыка превосходит земную, как прекрасный концерт – подвывание волынки или гнусавый звук, издаваемый рожком ночного сторожа.

А уж почетом, оказанным ему на небесах, он не мог вдоволь нахвастаться.

В отсутствие более питательных блюд душа Антона поневоле довольствовалась этой случайной стряпней, впрочем, занимавшей хотя бы его воображение. Разум его оставался при этом как бы неподвижным: он не верил в эти рассказы, но и не сомневался в них – просто живо представлял себе все, о чем говорилось.

Между тем досада и гнев Лобенштайна на Антона стали все чаще выходить наружу тычками и бранью. Шляпник отравлял ему жизнь ужасным образом, заставляя выполнять самую рабскую и унижительную работу. Но ничто не ранило Антона сильнее, чем тот случай, когда ему впервые в жизни пришлось пройти по оживленной улице с тяжелой корзиной на спине, доверху набитой шапками, сам же Лобенштайн шествовал далеко впереди – Антону тогда казалось, что вся улица только на него и смотрит.

Когда приходилось нести какой-либо груз, под мышкой или в обеих руках, Антон никогда не испытывал стыда, – скорее гордость. Но идти согбенным, подставив шею под ярмо, подобно выючному животному, послушно следующему за хозяином, – это сгибало и его дух, делая ношу тысячекратно тяжелее. От усталости и стыда он готов был провалиться сквозь землю, не донеся груз до места.

А местом этим был цейхгауз, служивший складом для шапок, сшитых по армейскому заказу. Нисколько не меньше, чем рассмотреть колокола и циферблат на башне в новой части Ганновера, Антон мечтал увидеть изнутри этот цейхгауз, мимо которого он столько раз проходил, даже не надеясь когда-нибудь удовлетворить свое желание. Но теперь все удовольствие было напрочь отравлено.

Ноша на спине подломила его дух сильнее, чем любое другое испытанное им унижение, больше, чем брань и тумачи Лобенштайна. Пасть ниже уже невозможно, думал он и представлялся себе едва ли не самым никчемным и забытым существом. Эта ситуация стала одной из самых страшных во всей его жизни и позже вспоминалась ему всякий раз, как он видел какой-нибудь цейхгауз, живо вставая перед глазами при слове *ярмо*.

Когда случалось нечто подобное, он старался спрятаться от людей, малейшие звуки веселья делались ему ненавистны; он спешил укрыться за домом, в одном местечке на берегу Окера и просиживал там часами, с задумчивой тоской созерцая течение реки. А если в такую минуту до него случайно доносился человеческий голос из соседнего дома или он слышал пение, смех, разговоры, ему казалось, что мир глумится над ним – настолько презренным и ничтожным ощущал он себя после того, как склонил шею под ярмо той корзины.

Он находил даже особый род удовольствия, присоединяясь к этому глумлению, которое чудилось его мрачной фантазии. В одну из таких ужасных минут, когда он в отчаянии разразился над собой саркастическим смехом, отвращение к жизни достигло в нем такой силы, что он весь задрожал и зашатался, стоя на узком помосте. Ноги его подкосились, и он рухнул в реку. Ангелом-хранителем его стал Август, который уже несколько времени стоял незамеченным за его спиной, он и вытащил его за руку из воды. Однако рядом случились люди, скоро сбегался весь дом, и с той минуты Антон прослыл опасным человеком, от коего следовало избавиться как можно скорее. Лобенштайн немедленно отписал об этом происшествии отцу Антона, и через две недели тот, обеспокоенный, уже был в Брауншвейге, чтобы вернуть в Ганновер своего скверного сына, в чьем сердце, по мнению господина Фляйшбайна, дьявол возвел себе незыблемое святилище.

Антон оставался у шляпника Лобенштайна еще несколько дней и в присутствии отца с удвоенным рвением выполнял свои обязанности, находя удовлетворение в том, чтобы напоследок приложить к работе все свои силы. Мысленно он прощался с мастерской, сушильной, с дровяным чердаком, с Брюдернкирхе, и заветным его желанием было по приезде в Ганновер рассказать матери о пасторе Паульмане.

Чем меньше дней оставалось до расставания, тем легче становилось у него на сердце. Скоро он сбросит с себя томительный гнет и перед ним снова откроется широкий мир.

Прощание с Августом было сердечным, с Лобенштайном – холодным как лед. Хмурым воскресным днем Антон вместе с отцом покинул дом шляпника – в последний раз бросил взгляд на черную дверь, обитую большими гвоздями, и удовлетворенный вышел за ворота, за которыми еще совсем недавно совершил столь увлекательную прогулку. Высокий городской вал и башня св. Андрея вскоре пропали из виду, в сумеречной дали виднелась лишь заснеженная вершина Брокена, терявшаяся в низких густых облаках.

Отец держался с ним холодно и замкнуто, поскольку смотрел на него глазами шляпника Лобенштайна и господина Фляйшбайна как на человека, в чьем сердце возвел свое святилище дьявол; по пути они разговаривали мало, шли молча, и Антон почти не заметил, как пролетело время – всю дорогу он приятно беседовал с собственными мыслями – ему не терпелось увидеть мать и братьев и рассказать им о превратностях своей судьбы.

Наконец четыре красивые башни Ганновера воздвиглись над горизонтом – как старинного друга после долгой разлуки, Антон узнал башню в новой части города и ощутил пробуждение своей старой любви к колоколам...

Он снова оказался в стенах Ганновера, и все здесь было ему ново – родители его переселились на другую квартиру, более тесную и темную, в отдаленной части города. Все это представлялось ему столь чуждым, что, поднимаясь по лестнице, он чувствовал, что совсем не принадлежит к этому дому. Но сколь холодным и отталкивающим было поведение отца, столь радостно-возбужденными криками встретили его мать и братья – они осмотрели его потрескавшиеся от мороза руки, и впервые за долгое время он вновь почувствовал, что его жалеют.

Выйдя из дому на следующее утро, он посетил знакомые места, где когда-то играл ребенком. Ему представилось, что за прошедшее время он повзрослел и теперь хочет предаться воспоминаниям о своей юности; он повстречал компанию своих бывших одноклассников и товарищей детства, все они, обрадованные его приездом, жали ему руку.

Когда же он наконец остался наедине с матерью, мог ли он первым делом не рассказать ей о пасторе Паульмане? Она всегда питала безграничное уважение к священству и вполне разделила чувства Антона к пастору. Каким несказанным блаженством были освящены эти часы, когда Антон смог излить свою душу и вдоволь наговориться о человеке, которого любил и почитал более всех остальных на целом свете!

Теперь он послушал и ганноверских проповедников, но – никакого сравнения с Паульманом! Он так и не смог нигде найти второго Паульмана – разве лишь некий Н. отчасти напоминал его, когда во время проповеди приходил в сильное возбуждение.

Никакой проповедник, хоть немного уступавший пастору Паульману в быстроте речи, не мог снискать расположения Антона, и – если в проповеднике видеть оратора – не знаю, так ли уж Антон был неправ. Учитель должен говорить медленно, оратор – быстро. Учитель просвещает разум постепенно, оратор овладевает сердцами с бою: разум должно вводить в действие медленно, сердце – как нельзя быстрее, если мы не хотим потерпеть неудачу. Правда, плох тот учитель, который временами не выступает оратором, и плох тот оратор, который никогда не делается учителем, однако Фокс, выступая в английском парламенте, всегда говорит с невероятной быстротой, и этот ревуший поток увлекает за собой всех и вся, потрясая души слушателей – так же, как пастор Паульман потрясал души своей проповедью о лжесвидетельстве.

Однажды Антону довелось – с превеликим неудовольствием – прослушать в гарнизонной церкви Ганновера воскресную проповедь священника по имени Марквард, также не имевшего ни малейшего сходства с пастором Паульманом, более того, своей медлительной и спокойной речью составлявшего ему почти прямую противоположность. Воротясь домой, Антон не мог удержаться и поделился с матерью острым чувством неприязни к этому проповеднику, но каково же было его удивление, когда мать сказала ему, что этот священник – ее духовник, что она принадлежит к его приходу и Антону придется посещать его занятия по Закону Божию, исповедоваться ему и принимать от него причастие.

Мог ли Антон тогда поверить, что этот человек, вызвавший у него неодолимую антипатию, впоследствии привлечет к себе его любовь, станет ему другом и благодетелем?

Между тем произошло событие, повергнувшее Антона, и без того склонного к унынию, в еще более мрачное настроение: его мать опасно заболела и две недели находилась на грани жизни и смерти. Тогдашнее состояние Антона не поддается описанию. Ему казалось, он отходит вместе с нею, настолько само его внутреннее существо было с ней слито. Узнав, что доктор уже не верит в ее выздоровление, он проплакал несколько ночей напролет. Сама мысль, что он может пережить мать, надрывала душу. Что же могло быть естественней его состояния, если он чувствовал себя покинутым всем миром и обретал себя лишь в ее любви и доверии!

Пришел пастор Марквард и причастил мать Антона святых тайн – тогда Антон окончательно уверился, что надежды нет, и отдался безутешному горю. Он молил Бога о спасении жизни матери, и тут ему вспомнился царь Езекия, получивший от Бога знак, что его просьба услышана и жизнь продлена.

Подобного знака стал теперь искать и Антон, высматривая, не двинется ли назад тень по садовой стене. И действительно, тень в конце концов как будто несколько отступила – оттого ли, что на солнце набежало легкое облако, или его фантазия сама немного отогнала ее прочь, но с этой минуты Антон обрел новую надежду и его мать действительно стала выздоравливать. Он снова воспрянул духом и не жалел усилий, чтобы заслужить любовь родителей. Но с отцом отношения у него не ладились, по его возвращении из Брауншвейга тот испытывал к нему лишь острое, непреодолимое отвращение, которое выказывал по любому поводу – его попрекали даже едой, и часто Антону приходилось в прямом смысле есть свой хлеб со слезами.

В таком положении единственным его утешением стали одинокие прогулки с двумя младшими братьями – с ними он совершал регулярные вылазки на валы, окружавшие город, при этом всякий раз избирал какую-нибудь цель, ради которой все они и отправлялись в это как бы далекое путешествие.

С ранних лет он любил это занятие: едва научившись ходить, уже ставил себе целью добраться до конца улицы, где жил с родителями, и на этом замыкались его тогдашние маленькие прогулки.

Теперь же Антон превращал вал, на который взбирался, в гору, кустарник, сквозь который продирался, – в лес, а маленький холмик в городском рве – в одинокий остров. Так на пяточке в несколько сотен шагов он пускался с братьями в многомильные путешествия. Он забывал все на свете и не раз терялся с ними в лесах, карабкался на высокие утесы, высаживался на необитаемые острова – иными словами, вместе с братьями, как мог, воссоздавал идеальный мир, который выдумывал по прочитанным романам.

Дома он затевал с ними различные игры, которые нередко заканчивались плачевно – осаждал города, брал приступом крепости, построенные из книг мадам Гийон, обрушивая на них бомбы из диких каштанов. Время от времени он проповедовал, и тогда братьям полагалось внимательно его слушать. Однажды он соорудил себе кафедру из стульев, а братьев усадил на ножные скамейки. Проповедуя, он пришел в такое исступление, что рухнул со своей кафедры на пол и спинкой стула разбил головы обоим мальчикам. Крики и суматоха отдались по всему дому – явился отец и принялся весьма немилосердно воздавать Антону за его старания. Мать,

прибегавшая следом, попыталась вырвать его из рук родителя, но не сумела – гнев ее обратился в противоположную сторону, она тоже изо всех сил стала колотить Антона, и никакие мольбы и просьбы не спасли его от побоев. Наверно, ни одна проповедь не заканчивалась столь прискорбно, как первая проповедь Антона. Память об этом происшествии еще долго приводила его в содрогание даже во сне.

И все же случившееся не отпугнуло Антона: он еще чаще стал всходить на свою кафедру, чтобы от начала до конца – с цитатами из Евангелия и правильным расположением частей – прочитать записанную проповедь на ту или иную тему. Ибо с тех пор, как он впервые записал проповедь пастора Паульмана, ему стало легче упорядочивать свои мысли и связывать их друг с другом.

Теперь не проходило воскресенья, чтобы Антон не записал выслушанную проповедь, и вскоре он приобрел такую сноровку, что мог по памяти восстановить опущенные части: записав лишь главные мысли, он затем дома почти полностью воссоздавал всю проповедь на бумаге.

Антону шел уже пятнадцатый год, и, чтобы принять конфирмацию, то есть вступить в лоно христианской церкви, ему надобно было некоторое время посещать занятия по Закону Божию в какой-нибудь школе.

В Ганновере существовал институт, готовивший учителей для сельских школ, и в его стенах – бесплатная школа, где будущие учителя упражнялись в педагогическом искусстве. Таким образом, эту школу учредили для пользы учителей, от самих же учителей пользы здесь было немного. Поскольку, однако, школьникам не приходилось платить за науку, то сие заведение сделалось подлинным прибежищем для бедняков, которые могли обучать там своих детей совершенно задаром, а так как отец Антона отнюдь не горел желанием чрезмерно тратиться на своего пропавшего и отлученного от Божией благодати сына, то в конце концов и отвел его в эту школу, где тот, как это с ним случалось и раньше, вознадеялся обрести совершенно новый жизненный путь.

Наутро в первый же час занятий Антону предстало торжественное зрелище: все будущие учителя и обоего пола ученики, собравшиеся в классной комнате. Инспектор этого заведения, лицо духовного звания, каждое утро проводил с учениками уроки катехизации – как образец для учителей. Последние сидели за столами, записывая вопросы и ответы, а инспектор расхаживал по классу и задавал вопросы. На послеобеденных занятиях кто-нибудь из учителей в присутствии инспектора повторял со школьниками тот же урок, что был преподан утром.

Записывание давно сделалось для Антона наилегчайшим делом, и когда учитель вечером повторял утренний урок, у Антона он был уже записан – и куда полнее – на дощечке для письма, и он мог ответить даже больше, чем у него спрашивали, – этим он привлек к себе мимолетное внимание инспектора, что чрезвычайно ему польстило.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.